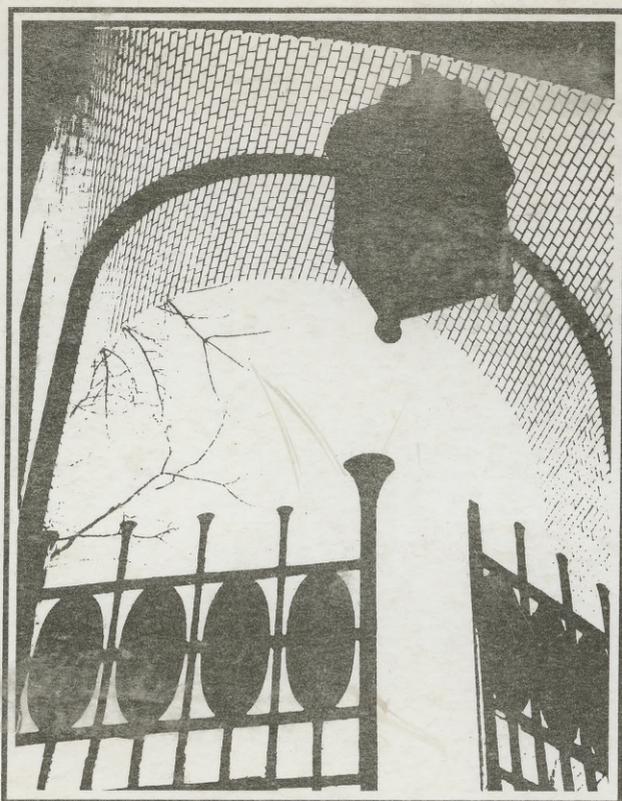


РЕЧИТАТИВ

1'97



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕЧИТАТИВ

Автор концепции и создатель журнала
Андрей Крыжановский

Санкт-Петербург
1997

РЕЧИТАТИВ

№ 1, 1997/№ 8

Редакция:

Михаил Дайнека

(главный редактор)

Диана Вежина

(ответственный секретарь)

Наталья Крыжановская

(учредитель журнала)

Дизайн и изготовление
оригинал-макета

Андрей Белокрылов

Этот номер издан
на средства семьи
А. Крыжановского

Адрес редакции:
199406, Санкт-Петербург, а/я 209

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
Переписка материалов
допускается только
с разрешения редакции*

Журнал зарегистрирован
14 июля 1995 г.

Северо-Западным региональным
управлением комитета РФ
по печати (Санкт-Петербург)
Свидетельство № П - 1550

© Андрей Крыжановский,
название журнала

Сдано в набор 25.12.96

Подписано к печати 25.04.97

Формат 60x84/8. Усл. п. л. 14

Печать офсетная.

Тираж 3000 экз.

Оригинал-макет изготовлен
при содействии
Финансовой Группы

РоссеКо

и издательства

TERRA FANTASTICA

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	3
Евгений Шварц. «Я прожил жизнь свою неправо...»	4
К 100-летию со дня рождения Евгения Шварца: Евгений Шварц. Стихотворения	8
Евгений Бишевич. Поэт Евгений Шварц	18
Наталья Крыжановская. Поверим поэту	24
Андрей Крыжановский. Из неопубликованного. Стихи	31
Вернисаж. Графика Андрея Базаева. Александр Симуни. Краски осетинской земли	41
Наталья Абельская. Стихи	45
Дмитрий Толстоба. Стихи	49
Красноречивый поселянин. Перевод, вступительная заметка, примечания Ивана Рака	55
Михаил Дайнека. Играем в поддавки и в классики	68
Михаил Успенский. Тепь Данга, или Стапсы до упаду. Поэма	72
Евгений Лукин. Стихи	75
Виктор Соснора. Возвращение к морю (попытка). Поэма	84
Луис Альберто де Куэнка. Перевод Всеволода Багно	96
Всеволод Багно. Стихи	98
Владимир Евсеев. Стихи	101
Александр Филиппов. Стихи	103
Алексей Крайковский. Стихи	109
Вместо заключения	111

*Иллюстрации Андрея Базаева
(стр. 5, 23, 30, 39, 40, 43, 44, 48, 83),
Андрея Пислина (стр. 71),
Егора Федюкина (стр. 95),
Натальи Евсеевой-Грозовой (стр. 100),
Александра Филиппова (обложка, стр. 104, 106, 108);
на страницах 54 и 67 — контурное воспроизведение
рисунка из древнеегипетской «Книги Мертвых».*

В некоторых случаях сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации.

К читателю

Этот выпуск журнала «Речитатив» составлен из двух номеров — четвертого за 1996 и первого за новый 1997 год. От мысли сделать двоянный номер журнала (4'96 — 1'97) и таким образом формально сохранить ежеквартальный ритм издания «Речитатива» редакция отказалась. У нас нет абсолютной уверенности, что в нынешнем году мы сумеем обеспечить выход в общей сложности четырех номеров.

Причины просты. Несмотря на бескорыстную поддержку спонсоров (в частности, «Речитатив» № 3'96 увидел свет благодаря поддержке АОЗТ «РЕДЭС ЛТД» и его Генерального директора Михаила Бениаминовича Казакова), финансовое положение журнала оставляет желать лучшего. Да и своего помещения у «Речитатива» до сих пор нет, что существенно тормозит работу и ограничивает наши возможности. Мы будем признательны всем, кто имеет возможность и желание помочь самому первому в Санкт-Петербурге независимому журналу поэзии: в этом году «Речитатив» отметит пятилетие своего существования.

Не все складывается так, как мы рассчитывали, не все получается. И это к лучшему, наверное, потому что если сложится и получится сразу все, то дальше будет скучно. Кстати, анонсированный в предыдущем номере коммерческий раздел с условным названием «Ярмарка», где мы предполагали публиковать произведения за счет их авторов, пока на наших страницах не появится. Качество предложенных текстов, увы, не выдерживает никакой, даже самой снисходительной критики — а заведомая профанация не окупается. Тем не менее, все наши коммерческие предположения остаются в силе, менеджментом по-прежнему занимается Теоретическое Объединение «Артефакт» (контактный телефон 311-88-73).

Итак, сложности у «Речитатива» есть и, надо полагать, будут. Но редакция не унывает, дружно считая, что проблемы на то и существуют, чтобы их решать. Дабы привести наши намерения в соответствие с финансовыми возможностями, мы решили временно выпускать не четыре, как планировалось ранее, а два номера в год, но зато в полтора раза увеличить объем журнала. Так что в 1997 году непременно выйдет еще один «толстый» том «Речитатива». Ну а если обстоятельства изменятся к лучшему — что ж, редакционный портфель наполнен весьма плотно, и мы охотно издадим несколько «внеплановых» номеров нашего журнала.

Постоянные читатели «Речитатива» обратят внимание на некоторые изменения в компоновке материала. Связано это, во-первых, с увеличением объема издания и, как следствие, с усложнением его структуры. Во-вторых, обновлять приемы подачи материала нас заставляет и появление подобий, вернее — подобия нашего журнала под названием «Невский Альбом». В-третьих, поиск новой и лучшей формы вообще свойственен любому периодическому изданию, тем более журналу поэзии, который живет, а стало быть — изменяется, сохраняя самое себя.

В следующем номере мы предполагаем, в частности, поместить стихотворения Александра Комарова, Бориса Краснова, предложить читателям новые переводы, а также затронуть такую любопытную проблему, как художественная проза в творчестве современных поэтов.

Редакция

Когда заканчивалась подготовка этого номера, пришло горькое известие. 19 ноября 1996 г. трагически погиб Сергей Васильевич Рогов, глава Финансовой Группы Росско, один из учредителей фестиваля «Золотой Остап», попечитель многих некоммерческих проектов в различных областях культуры, среди которых некогда был и наш журнал. Погиб замечательный человек. Очень хороший человек. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Редакция

Евгений Шварц

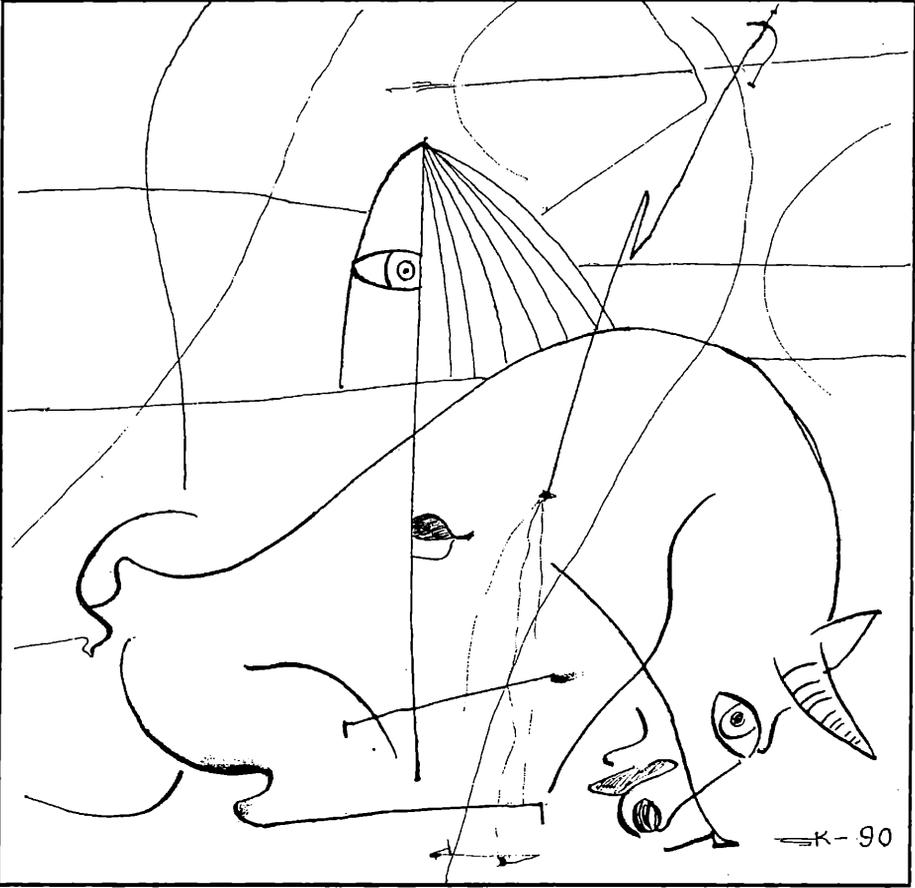
Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша.
И вот — позорно моложава
Лукавая моя душа.

Ровесники отяжелели.
Окаменеешь тут, когда
Живого места нет на теле
От бед, грехов, страстей, труда.

А я всё боли убегаю,
Да лгу себе, что я в раю.
Я все на дудочке играю,
Да близким песенки пою.

Упрекам внемлю и не внемлю.
Все так. Но верю, верю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя.

[1946—47]



К 100-летию со дня рождения Евгения Шварца (1896 — 1958)

Я негодяй и нарушитель законов, но когда я нарушаю законы, у меня есть цель. Всегда есть. Это — либо желание выразиться попроще и повывразительнее, либо дать ритм посложней и повеселей. Другое дело, что у меня выходит плохо. Это несчастье, неуменье, но задача поставлена, есть цель. <...>

Ты пойми меня, я перейду на точку зрения более общую: стихи — это скандал, пожар, землетрясение, северное сияние, черт знает что еще. Ветер что ли. Стихи надо сочинять тем же самым местом, которым ты плачешь, кричишь, жалуешься сама себе, злишься и любишь. Это с одной стороны.

С другой, надо немедленно влюбиться в самую форму, в слова, в фокусы. Если ты не гастроном, то не будешь поваром, такой есть в поэзии дурацкий закон. Как совместить эти две вещи? Не знаю. По-видимому так же, как голодный европеец ест вилокю, несмотря на страстное желание есть.

*Евгений Шварц,
Из письма к А. П. Крачковской,
1928.*

Стихотворения Евгения Шварца

В «узком кругу» о его стихах ходили легенды: они, де, сохранились чудом, печатать их было «нельзя», а держать дома «опасно». И все это неправда, а правда, как всегда, сложнее и глубже. Стихи, как и весь шварцевский архив, благополучно хранятся в ЦГАЛИ при том, что у кого-то были, конечно, и копии. Исключая шуточные, фельетонные и детские вещи, сам автор не предназначал их для печати. Дело, вероятно, в том, что присущая лирике исповедальность сталкивалась здесь с редкой деликатностью, с той границей, за которую, при всей открытости поведения, Шварц не пускал. Из этого столкновения, думаю, и родилась такая удивительная вещь, как «Страшный суд» — то ли повесть, то ли мистерия на грани стиха и прозы, нечто совершенно оригинальное и не имеющее аналогов, особенно если учесть время написания — конец 40-х или начало 50-х.

Необычность и малое количество стихов, вероятно, и вызывают робость публикаторов: вот если бы он нечто обличительное или авангардное в обершутском духе — как это легло бы в наработанные схемы!

*«Весь мир играет комедию» — а знаменитый комедиограф был занят чем-то другим. К тому же его не сажали, не исключали из СП и не поминали в погромных постановлениях, хотя того же «Дракона» на сцену не пускали. В схемы не лезет, ну а человека, как водится, за барабанными боями и соблазнительными легендами наши журналы забыли. Так вспомнил хоть мы.**

Андрей Крыжановский

* Заметка была написана для самиздатовского альманаха «Топка» (№ 2, 1989), который делали поэты, работавшие в то время в котельных (прим. ред.).

Евгений Шварц

ЭПИГРАММА

Уставший и остывший,
С постылою судьбой,
Незнавший и забывший,
Как быть ему с собой.

За ним несется ветер,
Трава скользит у ног,
Сверчок свистит на вечер,
Встревоженный сверчок.

Вода журчит в канаве
Далеким ручейком,
А свет скользит в канаву
И пляшет кувырком.

А он идет унылый,
Усталый, постылый,
Сутулый и пустой,
С карманною могилой,
С фарфором за спиной
И с гамбургской луной.

[1924—26]

ПЕСЕНКА КЛОУНА

Шел по дорожке
Хорошенький щенок,
Нес в правой ножке
Песочный пирожок
Своей невесте,
Возлюбленной своей,
Чтоб с нею вместе
Сожрать его скорей.

Вдруг выползает
Наган Наганыч Гад
И приказает
Ступать ему назад.

И отбирает
Подарок дорогой,
И ударяет
Счастливчика ногой.

Нет, невозможен
Такой худой конец.
Выну из ножен
Я меч-кладенец!

Раз! И умирает
Наган Наганыч Гад,
А щенок визжает:
«Спасибо, очень рад!»

[Начало 30-х годов]

СЛУЧАЙ

Был случай ужасный — запомни его:
По городу шел гражданин Дурнаво.
Он всех презирал, никого не любил.
Старуху он встретил и тростью побил.
Ребенка увидел — толкнул, обругал.
Котенка заметил — лягнул, напугал.
За бабочкой бегал, грозя кулаком,
Потом воробья обозвал дураком.
Он шествовал долго, ругаясь и злясь,
Но вдруг поскользнулся и шлепнулся в грязь.

Он хочет подняться — и слышит: «Постой,
Позволь мне, товарищ, обняться с тобой,
Из ила ты вышел когда-то —
Вернись же в объятия брата.
Тебе, Дурнаво, приключился конец.
Ты был Дурнаво, а теперь ты мертвец.

Лежи, Дурнаво, не ругайся,
Лежи на земле — разлагайся».

Тут всех полюбил Дурнаво — но увы!
Крыжовник растет из его головы,
Тюльпаны растут из его языка,
Орешник растет из его кулака.
Все это прекрасно, но страшно молчать,
Когда от любви ты желаешь кричать.
Не вымолвить доброго слова
Из вечного сна гробового!

Явление это ужасно, друзья:
Ругаться опасно, ругаться нельзя!

[Начало 30-х годов]

СНЫ

Это очень хорошо —
Вот аптечный порошок,
Берголетовый снежок,
Трансарктический дружок.

Он летит из облаков,
Из мороженных мешков,
Из туманных кулаков
На холодных дураков.

Гигиена, чистота,
Красота и пустота.
А какая тишина!
А какая вышина!

Сухо сыплет порошок
Хаотический дружок
Трансарктический снежок.
— Это очень хорошо.

ГОВОРЯТ

Где вы, мягкие губы,
Теснота, теплота.
Говорят, что ты чужая,
Для другого отдана.

Говорят, что собака
Это волчий внук,
Говорят, приручилась
Собака не вдруг.

А в нашем лесу
Кусты говорят,
Листы говорят,
Летят, горят.

Верти, верти,
Летай, крути,
А ты, дорогая,
Прощай-прости.

ВЕТЕР

Около рассвета
Шум и свист.
Легкая газета,
Тонкий лист.

Легкая газета
Взвилась в небеса.
Белые болота,
Синие леса.

Летят объявления
Над сонной рекой,
Уклоны, направления
Кружат над землей.

Депеши, телеграммы
Вьются и дрожат,
Семейные драмы
На ветру лежат.

Качаются старые
Хриплые леса,
Туманы вздымаются,
Ползут в небеса.

Ветер, ветер,
Качай, держи,
Ветер, ветер,
Кидай, кружи.

Лети, газетный
Легкий листок,
Свети, рассветный
Серый восток.

Вымпел играет,
Топка горит,
Сирена рыдает,
Мотор говорит.

ВОДА

Ночью лошадь стала,
Стала на мосту,
Стала и заржала,
Смотрит в темноту.

Смотрит — и копытом
Лупит по доске.
Кружится сердито,
Кружится в тоске.

А вода вздыхает,
Ходит у быков,
Медленно вспухает
У крутых боков,
Медленно вздымает
Щепочки да сор,
Блеск перебирает,
Льется на простор.

Молодой военный
Шпорой бьет коня,

Рвет он повод пенный,
Шашкою звеня.

Смотрит и смеется
Сонный постовой,
А трамвай несется
Шумный и восьмой.

А вода вздыхает,
Ходит у быков,
Кружится, вспухает
У крутых боков,
Медленно вздымает
Щепочки да сор,
Блеск перебирает,
Свет переливает,
Льется на простор.

Конь косится оком
Кровью на белке,
Боком он и скоком
Борется в тоске.

Тонкие доски,
Туже повода,
Блестки да полоски,
Черная вода.

Кружится, вспухает,
Ходит у быков,
Медленно вздыхает
У крутых боков,
Медленно вздымает
Щепочки да сор,
Блеск перебирает,
Свет переливает,
Льется на простор.

Мост провален,
Сваи да быки,
Стаи развалин
Стали у реки.

Города нету
Около моста,
По всему свету
Пустая пустота.

СЛЯКОТЬ

Вот было дело,
Вот была беда —
Вдруг загустела
Хорошая вода.

Стала тяжелой,
Стала киселем,
Стала невеселой,
А мы ее пьем.

Лезет на сушу
Жидкая грязь,
В печень и в душу,
И в сердце, и в глаз.

В городе — горы
Жидкой беды.
Худые разговоры
Около воды.

Плакать, не плакать,
Кричать, не кричать.
Идет волною слякоть
Укачивать, кончать.

[Середина 20-х гг.]

* * *

Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить Божье повеленье,
Чтоб не завывать по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей
Зажмурившись, поет в глуши своей.

[1946—47]

В ТРАМВАЕ

Глядят не злобно и не кротко,
Заняв трамвайные места,
Старуха — круглая сиротка,
Худая баба — сирота.

Старик, окостеневший мальчик,
Все потерявший с той поры,
Когда играл он в твердый мячик
Средь мертвой ныне детворы.

Грудной ребенок, пьяный в доску,
О крови, о боях ревет,
Протезом черным ищет соску
Да мать зовет, все мать зовет.

Не слышит мать. Кругом косится,
Молчит кругом народ чужой.
Все думают, что он бранится.
Да нет! Он просится! Домой!

Увы! Позаросла дорога,
И к маме не найти пути.
Кондуктор объявляет строго,
Что Парки только впереди.

А рельсы, добрые созданья,
На закруглениях визжат:
— Зачем не видимы страданья?
Зачем на рельсах не лежат?

Тогда бы целые бригады
Явились чистить, убирать,
И нам, железным, от надсады
Не надо было бы орать.

[Вторая половина 40-х годов]

* * *

Бессмысленная радость бытия.
Иду по улице с поднятой головою.
И, щурясь, вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травой.

Я вынужден поверить, что умру.
И я спокойно и достойно представляю,
Как нагло входит смерть в мою нору,
Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.

И через мир чужой врываюсь я
В знакомый лес с березами, дубами,
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.

[Вторая половина 40-х годов]

БЕССОННИЦА

Томит меня ночная тень,
Сверлит меня и точит.
Кончается вчерашний день,
А умереть не хочет.

В чаду бессонницы моей
Я вижу — длинным, длинным
Вы, позвонки прошедших дней,
Хвостом легли змеиным.

И через тлен, и через прах
Путем своим всегдашним
Вы тянетесь, как звон в ушах,
За днем живым, вчерашним.

И ляжет он под тихий звон
К друзьям окостенелым,
Крестом простым не отличен,
Ни злым, ни добрым делом.

Ложись к умершим близнецам,
Отпетым и забытым.
Ложись, ложись к убитым дням,
Моей рукой убитым.

Томит меня ночная тень,
Сверлит меня и гложет.
Не в силах жить вчерашний день,
И умереть не может.

[Вторая половина 40-х годов]

СТРАШНЫЙ СУД

Поднимается в гору
Крошечный филистимлянин
В сандалиях,
Парусиновых брючках,
Рубашке без воротничка.
Через плечо пиджачок,
А в карманах пиджачка газеты
И журнал «Новое время».
Щурится крошка через очки
Рассеянно и высокомерно
На бабочек, на траву,
На березу, на встречных
И никого не замечает.
Мыслит,
Щупая небритые щеки.
Обсуждает он судьбу народов?
Создает общую теорию поля?
Вспоминает расписание поездов?
Все равно — рассеянный,
Высокомерный взгляд его
При небритых щечках,
Подростковых брючках,
Порождает во встречных
Глубокий гнев.

А рядом жена,
Волоокая, с негритянскими,
Дыбом стоящими волосами.
Кричит нескромно:
— Аня! Саня!
У всех народностей
Дети отстают по пути
От моря до дачи:
У финнов, эстонцев,
Латышей, ойротов,
Но никто не орет
Столь бесстыдно:
— Аня! Саня!
Саня с длинной шейкой,
Кудрявый, хрупкий,
Уставил печальные очи свои
На жука с бронзовыми крыльшками.
Аня, стриженная,
Квадратная,
Как акушерка,
Перегородила путь жуку
Листиком,
Чтобы убрать с шоссе неосторожного.
— Аня! Саня! Скорее. Вам пора
Пить кефир.

С горы спускается
Клавдия Гавриловна,
По отцу Петрова,
По мужу Сидорова,
Мать пятерых ребят,
Вдова троих мужей,
Работающая маляром
В строй-ремонт-конторе.
Кассир звонил из банка,
Что зарплаты сегодня не привезут.
И вот — хлеб не куплен.
Или, как некий пленник, не выкуплен.
Так говорит Клавдия Гавриловна:
Хлеб не выкуплен,
Мясо не выкуплено,
Жиры не выкуплены.
Выкуплена только картошка,
Не молодая, но старая,
Проросшая, прошлогодняя,
Пять кило древней картошки
Глядят сквозь петли авоськи.
Встретив филистимлян,
Света не взвидела
Клавдия Гавриловна.
Мрак овладел ее душой.
Она взглянула на них,
Сынов божьих, пасынков человеческих,
И не было любви в ее зоре.
А когда она шла
Мимо Сани и Ани,

Худенький мальчик услышал тихую брань.
Но не поверил своим ушам.
Саня веровал: так
Женщины не ругаются.
И только в очереди
На страшном суде,
Стоя, как современники,
 рядышком,
Они узнали друг друга
И подружились.
Рай возвышался справа,
И Клавдия Гавриловна клялась,
Что кто-то уже въехал туда:
Дымки вились над райскими кущами.
Ад зиял слева,
С колючей проволокой
Вокруг ржавых огородов,
С будками, где на стенах
Белели кости и черепа,
И слова «не трогать, смертельно!»
С лужами,
Со стенами без крыш,
С оконными рамами без стекол,
С машинами без колес,
С уличными часами без стрелок,
Ибо времени не было.
Словно ветер по траве,
Пронесся по очереди слух:
«В рай пускают только детей».
«Не плачьте, Клавдия Гавриловна, —
Сказал маленький филистимлянин, улыбаясь, —
Они будут посылать нам оттуда посылки».
Словно вихрь по океану,
Промчался по очереди слух:
«Ад только для ответственных».
«Не радуйтесь, Клавдия Гавриловна, —
Сказал маленький филистимлянин,
 улыбаясь, —
Кто знает, может быть, и мы с вами
За что-нибудь отвечаем!»
«Нет, вы просто богатырь, Семен Семенович, —
Воскликнула Клавдия Гавриловна, —
Шутите на страшном суде!»

[1946—47]

Евгений Биневич

Поэт Евгений Шварц

Четверть века назад я впервые познакомился с послевоенным циклом стихов драматурга Евгения Шварца. Их дала мне актриса Елизавета Александровна Уварова, друг писателя, переигравшая на сценах ленинградских ТЮЗа, Нового ТЮЗа и театра Комедии, кажется, во всех его пьесах. Потом я узнал и другие его стихи. Их было немного, но они поражали раскрытостью, трагическим восприятием жизни. Такого Шварца мы еще не знали. В его поэзии не усмирились чувства, как в пьесах, необходимой разумностью, аналитичностью. Мы привыкли к эпике его произведений. Здесь мы встретились с лириком. Эти стихи написаны о себе, в них душевная борьба и радость открытия, отчаяние и надежда. В них — обнаженная душа человека, поэта, творца.

...Стихи стали рождаться в Жене Шварце, когда он ни писать, ни читать еще не умел. В Майкопе, где прошло его детство и отрочество, Варвара Васильевна Соловьева сохранила, а в недавние времена уже передала в РГАЛИ небольшой по формату альбом, переплетенный в бархат светлокоричневого цвета. В нем множество стихов, записанных рукой Шварца. Стихи собственные и явно чужие, иногда видоизмененные. Все они несколько подражательны. И тем не менее, младшая его современница, майкопчанка Александра Крачковская, ставшая в конце концов детской писательницей, еще в 1920 году посылала актеру Шварцу свои стихи на «рецензию». То есть видела в нем старшего опытного в поэзии товарища, Мастера. И его советы ей, на мой взгляд, высокопрофессиональны: «Пишете Вы хорошо, — отвечал он. — Одно могу сказать — пишите больше, чаще, как можно чаще. Следите за рифмой! Пишите, помня, что форма не враг, а помощник, что говорят в стихе не одними словами, а стихом тоже. Я дрался с формой, терзал и калечил размер, бросал совершенно рифму — через это следует пройти. Если это есть, значит Вам тесно в стихе, значит, есть о чем говорить. Первая ступень — это когда пишут в угоду рифме, меняя, уничтожая образ. Вторая ступень — чувствуют образ, смысл, настроение и портят форму. Третья и высшая ступень (в которой бездна собственных препятствий и ступеней) — форма служит образу и стиху и Вам. Не убивайте форму, а побеждайте. Мои старые стихи меня ужаснули. Форма разбита в клочки. Вторая ступень взята с бою, и раны, полученные в бою, так и зияют. Очень много крови, но никакого искусства. Вы уже лучше пишете». (Детская литература. М. 1976. № 10.)

Эта «битва» продолжалась всю жизнь. И он чувствовал, что побеждает нечасто.

Другое дело — стихи иронические, пародийные, сатирические, которые слагались в счастливую пору «веселого детства детской литературы», по выражению Николая Чуковского, когда начинающий литератор Евгений Шварц служил редактором

непревзойденных до сих пор, пожалуй, журналов «Еж» и «Чиж». Эти стихи рождались легко. Он с удовольствием и безотказно читал их всем желающим. Многие из них записал в «Чукоккалу», некоторые приводит Борис Чирков в книге «Азорские острова», Л. К. Чуковская — в «Записках редактора...»

Но были уже другие стихи. Тогда же, в середине 20-х гг., Шварц создал цикл стихотворений, в которых впервые в его творчестве соединились область высокого и пронического, обиходного и фантастического. И это было уже всерьез. Их он впервые записал, но никому не показал, не отдал в печать. Так они и лежат в архиве, аккуратно набело переписанные уже дрожащей рукой на желтоватой, рулонной бумаге, на какой писали тогда в Детском отделе ГИЗа.

Читая воспоминания о Шварце и разговаривая с людьми, хорошо знавшими его, в первую очередь обращаешь внимание на то, что все говорят о его необыкновенной доброте, жизнелюбии, особом юморе. Но был и другой Шварц, видевший зло мира и умеющий ненавидеть человекоподобных. И здесь, по-моему, нет противоречия. Чем человек сильнее ощущает несовершенство бытия, тем он добрее к людям, больше им сочувствует. Об этом стихи, которые уже публиковались, но тем не менее вновь предлагаемые читателям, — лучшее, что написано Шварцем в стихотворном жанре.

Писались они одновременно. Сужу об этом по черновикам, хранящимся в РГАЛИ, где на листках переплетены строки из разных стихов. Сохранилось несколько рукописей (машинописей) со стихотворением «Я прожил жизнь свою неправо...», в одной из которых оно названо «Ehexi monument». Есть возможность хотя бы приблизительно установить дату его написания, а следовательно и четырех других. В одном из блокнотов, подаренном Шварцем актрисе театра Комедии Людмиле Люлько, исполнительнице его Принцессы в «Тени», оно помечено: «13 января, 1947 год». То ли дата завершения работы, то ли записи в блокнот. К этому циклу примыкает и небольшая его поэма «Страшный суд», написанная тоже не позднее 1947 г.

Но читателей ждет и сюрприз. В сборнике Николая Олейникова «Пучина страстей» (Л. 1990) приведены четыре строки, посвященные Янине Жеймо, совместного производства со Шварцем, а в примечаниях сказано: «Полный текст не сохранился».

Много лет назад об этих стихах я спрашивал и саму Жеймо, и получил тот же ответ. Перед смертью Янина Болеславовна сдала свой архив в РГАЛИ, где и обнаружилась пропажа.

Жеймо тогда снималась в фильмах «Разбудите Леночку» (1933) и «Леночка и виноград» (1934), сценарии для которых писали Евгений Шварц и Николай Олейников. Когда съемки были закончены, артистке был поднесен громадный самодельный плакат, подписанный «Янине Жеймо от коллектива „Леночка и виноград“».

От Нью-Йорка и
До Клина
На сердцах у всех клеймо
Под названием Янина
Болеславовна Жеймо.

Вашей чудною игрою
(Уж на что кажись востер)
Поражается порою
Самый строгий режиссер.

Люди плачут и смеются,
Жадно глядя на экран.
Ростом с маленькое блюдце,
А талантище с Монблан.

Так, ученик Малевича, В. В. Стерлигов, сохранивший рукопись Даниила Хармса «Как я всех перешибаю», записал в «Биневину» главу оттуда, посвященную Шварцу. Анатолий Александров в своей публикации (Вопросы литературы. 1973. № 11) располагал несколько иным текстом, который он озаглавил «Как я растрепал одну компанию». Поэтому здесь я посчитал возможным привести вариант текста, хранившийся в архиве художников В. Стерлигова и Т. Глебовой:

«Однажды я пришел в Госиздат и встретил в Госиздате Евгения Львовича Шварца, который как всегда был одет плохо, но с претензией на что-то.

Увидя меня, Шварц начал острить, тоже как всегда неудачно.

Я острил значительно удачнее и скоро, в умственном отношении, положил Шварца на обе лопатки.

Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха.

В особенности же дохла от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефремович Рахмилович, для благозвучия называющий себя Южиным.

<Видя, что со мной шутки плохи, Евгений Львович Шварц начал приглашать меня к себе на обед, говоря, что к обеду будет суп с пирожками.

Я попался на эту удочку и пошел за Шварцем.

Он привел меня к себе, и мы начали обедать.

Жена Шварца, Екатерина Ивановна, все смеялась неизвестно чему.>*

Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто.

Тут я обозлился и сказал, что я более истончен, чем Шварц и Заболоцкий, что я останусь в истории светлым пятном, а они быстро забудутся.

Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед.

Однако Шварц куда-то скрылся, оставив меня одного на улице. Я плюнул с досады на эти штучки и вернулся в Госиздат».

В «Биневину» же Эстер Соломоновна Паперная, в ту пору секретарь редакции, 22 марта 1969 г. записала пять «графоманских загадок, которые Николай Алексеевич Заболоцкий с лукавым видом подсовывал мне на заседании редколлегии «Ежа» в 1928 году». Заседание было посвящено фольклору и было достаточно скучным. Три из этих загадок, наиболее приемлемых, принял к публикации альманах «Поэзия» (вып. 23; М. 1978), а две — про «Серп и молот» и «Грудь родительницы» — посчитал неуместными. Нынче все обретает свое место.

Что мало места занимает,
Однако, лучшую часть тела?
Всех, всех во младости питает
Да и у взрослых не без дела.

Хлебный злак чем срезать можно,
Также гвоздь чем можно вбить,
На дощечке осторожно
Может всяк совокупить.

Любопытное высказывание Евгения Львовича запомнил, а 2 апреля 1967 года записал в мою книгу писатель Евгений Рысс:

«В 1937 или 1938 году разговор со Е. Л. Шварцем».

«Ты знаешь, что говорили бы русские интеллигенты во времена царя Ирода? Они говорили бы так:

* Заключенное в скобки вычеркнуто автором.

«То, что приказано убить всех младенцев мужского пола, это, конечно, жестоко, но историю в белых перчатках не делают. Можно понять династические соображения, которые делают это необходимым. Но то, что в суматохе прикончили двух девочек, это безобразие, и об этом надо смело писать царю».

Потом, после небольшой паузы:

«Впрочем, о девочках тоже, наверное, не написали бы».

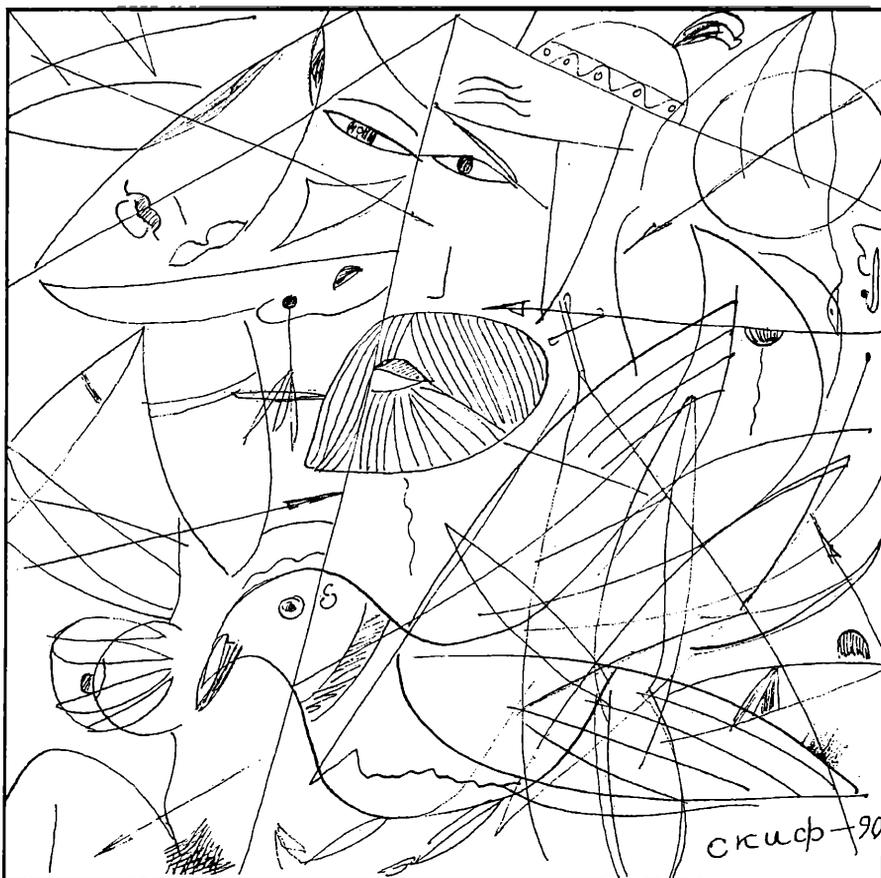
А 6 июня 1970-го года Раиса Львовна Берг, великий генетик и диссидент, записала стихи Шварца, посвященные внуку:

Звать его Андрей,
Дед его еврей,
Бабушка — армянка,
Мама — хулиганка,
Папа — кандидат,
Плохо дело, брат!

Когда я показал их Андрею, он сказал, что стихи были совсем не такие. И записал 21 февраля 1989 г. вариант:

Жил да был на свете
Маленький Андрей.
Знайте, знайте, дети:
Дед его еврей,
Бабушка армянка,
Мама — шарлатанка,
Папа — кандидат,
Плохо дело, брат.

Ноябрь 1996 г., для журнала «Рсчитатив».



Наталия Крыжановская

Поверим поэту

(Несколько слов по поводу очерка Марины Кудимовой «Подселенец», опубликованного в журнале «Континент» № 87, 1996.)

«...когда же лгали, то прибавляли „да будет мне стыдно“ и были наперед уверены, что „стыд глаза не выест“.»

Н. Щедрик (М. Е. Салтыков)

История одного города.

(О корнях происхождения глуховцев.)

В конце февраля этого года по предложению редакции журнала «Континент» я подготовила и отправила в Москву подборку ранее не публиковавшихся стихотворений Андрея Крыжановского вместе с его биографической справкой и номером журнала «Речитатив» (№ 1–2, 1996), где содержатся наиболее полные и точные данные о жизни и творчестве Андрея. Получив журнал с публикацией под названием «Поэзия и судьба Андрея Крыжановского», я была буквально ошеломлена количеством неточностей и искажений как фактов, так и авторских текстов, а особенно соседством с очерком Марины Кудимовой «Подселенец». Этот очерк я прочла в рукописи еще летом 95 года и уже тогда, оторопев от его развязного тона, несмотря на поминутное поминание Господа, отказалась дать к нему стихи Андрея. В данном же случае моего согласия никто и не спрашивал. Сомневаюсь, что у кого-то есть право делать меня соучастницей этой публикации. Странно, что «Континент», всегда стоявший на позициях защиты прав человека, а, следовательно, закона в целом и об авторском праве в частности, допускает такую вольную его трактовку. Полной неожиданностью явилась для меня и перепечатка без моего ведома 11-ти стихотворений из книжки «Звездный муравейник», вышедшей в 1990 году тиражем 5700 экз., и одного стихотворения из журнала «Речитатив» (№ 1, 1992). Надеюсь, что редакция «Континента» была просто введена в заблуждение чьей-то «задумкой». И очень жаль, так как тем, кто это задумал, к сожалению, не известно, что в книжке «Звездный муравейник» допущена досадная опечатка в стихотворении «Хлястик, как на Оливере Твисте...» (№ 6 из серии «Подвал и чердак», что следовало бы указать в публикации): во второй строчке второй строфы пропущено слово с предлогом. Опечатки, как известно, случаются, но нет нужды делать с них перепечатки. Строка эта должна быть напечатана так: «что могла б вцепиться в сердце жалость». Удивительно, что М. Кудимова, разбирающая это стихотворение в своем очерке, не знакома с его точным текстом. Стихотворение же «Антипророк» (№ 3 из серии «Подвал и чердак»), которое приведено в очерке целиком, неправильно разбито на строфы — разрушена форма, а, следовательно, и смысл. В таком виде это стихотворение вообще нигде не встречается.

Из подготовленной мною подборки напечатали почему-то 6,5 стихотворений, именно шесть с половиной — в последнем стихотворении исключили ровно половину, оставив только вторую его часть. Не понимаю из какого высшего смысла это сделано!

1

Как трава ни суха, а шевелится,
не успевшая пасть под косье;
чей-то глаз впереди так и целится
в помертвевшее сердце твое, —

Там костлявая трупокладчица
и наносчица ран пулевых
на холмах по окопчикам прячется
и всегда остается в живых,

Там судьба по тетрадке огрызками
повозив, назовет имена
тех, кого бесконечными списками
бросит в землю родная страна;

И с какими ни биться народами,
правым быть или левым — в чужой
неуютной земле нам не всходами
подниматься грядущей весной.

Мы подыдемся стройно, рядами,
как и должно вставать рядовым,
и багровое солнце, как знамя,
к небосводу штыком пригвоздим.

2

Я воскресну в весеннее таянье,
в синей глине оврага, у ног
вездесущих кустов, и в отчаяньи
разобью над собою ледок.

Он слегка зазвенит, и покатаются
льдинки в талой воде, но меня
не захватит весенней сумятицей
новорожденных рек болтовня.

Не оправившийся от боязни,
я воскресну, но, сжатый в комок,
и мечтать не смогу о соблазне
влиться в голос весны, в ручеек.

В теплом воздухе, в нежном дрожании,
из могил поднявшись миражем,

к небесам мы свое покаяние
в ослабевших руках понесем;

Нескончаемой звездной дорогой
в белом свете молочной реки
мы подыдемся к Господу Богу
всем законам земным вопреки;

И врата отворят нам, изгнанникам,
автоматчикам, смертникам, странникам.

— Вот, забытые даже Тобою,
мы явились, — и скажет Господь:
— Вот и дети мои, кровь и плоть.
Что же стали — идите в покой...

*Из неопубликованной книжки
«Идешь один...», 1980 год.*

Мне кажется, что точность авторских текстов гораздо важнее той «точности тайн» (по всей видимости, женских), о которых так решительно заявлено в самом начале очерка.

К сожалению, дух таинственности оказался настолько заразительным, что неточности и небрежности обнаруживаются и в редакционной врезке, посвященной Андрею: «...принадлежа к «поколению дворников и сторожей» — трудился сантехником...» Не буду придираюсь к фразе, но сантехником Андрей никогда не работал. И это совсем не тайна — сведения о его работе были отправлены в редакцию «Континента». Кроме того они уже опубликованы и известны читателю.

Читаем там же: «И сделал всего несколько передач на радио». Больше года, как и всякий ведущий Авторского канала «Невский проспект», Андрей Крыжановский еженедельно выходил в эфир и сделал множество передач. Некоторые из них не раз проходили конкурс и повторялись по «Радио России». (К сожалению, остались на радио многочисленные письма радиослушателей к Андрею — их мне так и не передали.) И если Кудимова принимала участие в сюжете, подготовленном Андреем Крыжановским всего один раз, то отсюда не следует, что он сделал всего несколько передач на радио.

Находясь, очевидно, под воздействием все той же «точности тайн», редакция не обращает внимания и на неизвестный доселе факт написания романа «Импровизатор» Гофманом, о чем сообщает госпожа Кудимова. До сих пор считалось, что автор этого романа Андерсен; да и Пушкин, по всей вероятности, не мог этот роман «поворошить», так как он вышел в Копенгагене в 1835 году, а на русский язык был переведен лишь в 1844-ом.

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что редакция очерк этот вообще не читала — иначе не объяснить, как допускаются ею выражения, которые использует Кудимова: «загнулся на «постели», никого не успев даже напугать». Конечно, если человек не умеет себя вести, то это проявится во всем, и в том, как он пишет, тоже. Это герой художественного произведения может и покруче заворачивать, но очерк памяти — это иной жанр, даже если он и является воспоминаниями о поэзии, о чем сообщает его автор, и в чем я позволю себе усомниться. Госпоже Кудимовой помнится то, что вовсе не с ней и не при ней было, а возраст Андрея она не помнит — он указан ею неверно.

Надо сказать, что М. Кудимова знала Андрея Крыжановского очень мало. Не отсюда ли встречающееся в ее тексте фамильярное и неуместное для данного случая

«Андрюша», «андрюшин»? Сведения о его жизни и творчестве почерпнуты ею, в основном, из слухов и некоего Письма. Автор таинственного Письма почему-то не назван, хотя цитируется оно достаточно широко и даже «вопиет, не считаясь ни с какой транквилизирующей метафизикой, седативной вечностью», как пишет об этом Письме госпожа Кудимова. До сих пор указывать автора, которого цитируют, считалось в публикациях общепринятой нормой. Письмо же, даже написанное с большой буквы, но не подписанное, напоминает анонимку.

Теперь несколько слов непосредственно о самом очерке с глумливым названием «Подселенец» и не менее глумливым, а еще более нелепым словосочетанием «сантехник-подселенец», которое почти все время ставится рядом с именем Андрея Крыжановского и определяется как судьбоносное, хотя ни тем, ни другим он не был. (Впрочем, Достоевский назван еще похлеще — «инженер-каторжанин».) По-видимому, идею «подселенца» поэтесса почерпнула, в основном, из двух стихотворений Андрея Крыжановского «Тринадцатое число» и «Памяти крестной». Слово же «подселенец» становится ключевым к пониманию всех проблем и устремлений человека, а также ключевым для нового толкования Евангелия, что госпожа Кудимова без лишних церемоний называет коррекцией. Разбором стихов это назвать нельзя, не оправдывают его и все иносказательные приемы, к которым так охотно прибегает поэтесса. Прием удобный — на него можно все списать и видеть только то, что хочется видеть. Зато вселенский размах концепции очерка просто поражает! Кудимова пишет: «Но в ЖЭКе или в РЭУ он подобрал слово, которое стало метафорой существования сына человеческого...»; «Явление Сына Человеческого в мир испорчено «квартирным вопросом», прочитанным онтологически. Рождество изначально лишнего приравнено к коммунальному подселению. (Кем приравнено? — Н. К.) Нелюбовь к младенцу предопределена». И до конца своих дней, по представлениям Кудимовой, он будет терзаться «вечной надеждой подселенца на свой угол, на не занятую чужой постирушкой ванну...» Хочу обратить внимание читателя на то, что слово «подселенец» всегда дается в очерке разрядкой, вероятно для обострения «квартирного вопроса». На самом же деле жилищных проблем и квартирных вопросов в жизни Андрея никогда не было. А как обстоит дело с «квартирным вопросом» у Сына Человеческого, ничего не могу сказать — не знаю. При таком восприятии вещей, да еще «онтологически», нельзя говорить даже о существовании — какие уж тут метафоры.

Кудимова проецирует на жизнь Андрея все, что ей вздумается: его стихи, причем любые, «лишнего» мальчика Оливера Твиста, убийство графа Милорадовича («Андрей... был убит, как граф Милорадович»), Евангелие, которое при этом «корректирует»: «Такая коррекция Евангелия, думаю правомочна, потому что дело происходило «по преданию», а не по Писанию», — пишет она. Разобравшись с Евангелием, автор незамедлительно приступает к Аллегории Отчизны-крестной, которая, по ее выражению, «в отличие от традиционной Родины-Матери образно восходит к «безматерней» поэзии певцов Арины Родионовны и Елены Кузиной». Затем поэтесса, как и положено в таких случаях, не забывает всхлипнуть о целомудрии и сиротстве.

Это кликушничество не имеет ничего общего с поэзией Андрея Крыжановского, а лишь подтверждает его мысль о том, что «законченные представители homo ferus (человек дикий — Н. К.) встречаются в жизни достаточно часто, чтобы не считать homo sapiens существом, победившим в межвидовой борьбе»*. Ну как, например, истолковать следующую фразу: «Бессознательный исихаст Крыжановский живет в Евангелии от Иоанна, чтобы «свободе совести», ублаженной непорочным зачатием других Евангелий, где нет Благовещения, жизнь медом не показалась». Как известно, исихаст (по Брокгаузу и Ефрону т. 15, с. 237) — это приверженец

* А. Крыжановский. Легко ли быть взрослым или несколько слов о современном понимании поэзии. «Речитатив» № 2, 1995 (с. 15).

мистического движения греческих монахов XVI века. Основой их учения была вера в существование несозданного божественного света, и для поддержания его они сутками стояли на коленях, созерцая собственный живот. Это, пожалуйста, к повару-окультисту Юрайде из «Похождений бравого солдата Швейка», но никак не к жизни и творчеству Андрея Крыжановского. А об абсурдности приведенной из очерка фразы в целом незачем говорить — читатель и сам разберется. Не о таком ли писал Козьма Прутков: «Нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия»?

Вообще в очерке, несмотря на всю кажущуюся сложность из-за полного расхляста мысли и языка, явно прослеживается тенденция все опростить и обезличить. С классиками госпожа Кудимова не то чтобы «на дружеской ноге», а как будто указывает каждому «свой шесток». Как из рога изобилия, из нее сыплются следующие выражения: «...экзерсисы ляха (имеется в виду Мицкевич — Н. К.) ...показавшего «москалям», где зимует сепаратистский рак»; «Наш псковский Левша, неутомонный Сверчок...», «Сверчок сам побывал первой русской поэтессой...», а потом вот решил попробоваться и на неаполитанского импровизатора», «Написав хорошие стихи, выдав их за импровизации... — Сверчок умолк»; «Несмотря на сагириальную (похотную) подоплеку «Гаврилиады»; «инженер-каторжанин Достоевский» и т. д. Даже само Евангелие опрощено «квартирным вопросом» и «коммунальным подселением», а потом откорректировано «отеком легких» и «дворницкой бляхой», которой дитя не смогло удовлетвориться из-за этого самого отека.

Поскольку Кудимова использует для коррекции Евангелия стихи Андрея Крыжановского и его жизнь, тоже откорректированную, позволю себе один раз прибегнуть к подлинному тексту Писания: «Ко всякому, слушающему слово о царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот кого означает посеянное при дороге». От Матфея, гл. 13.

Теперь будет вполне уместно привести несколько отрывков, написанных самим Андреем. (В свое время текст публиковался, правда, с некоторыми изменениями.) Он пишет, что статья, по его выражению, «конформистом от неконформизма», ему, видимо, «не позволил характер и еще... хорошо устроенная жизнь. Это «хорошо» сказано без иронии» — ему «редкостно повезло при рождении», так как он «появился на свет внуком крупнейшего нашего драматурга — Евгения Шварца. Это... означало — прочность бытия не только в материальном, но и в духовном плане... Плюс домашнее, интимное общение со Шварцем...» (Кудимова же пишет, что Андрей вместе с ней рвался в среду. Никуда он не рвался — он родился и вырос в литературной среде.) Но Андрей пишет и о трудностях своей дороги к печати. Размышляя об этом, он отмечает свое «рано проявившееся самостояние, выразившееся и в системе противостояний, в неумении и в нежелании и здесь принять определенные правила игры. ...**Входные системы литературного мира настроены на поиск скорее тех, из кого «можно вырастить» не мастеров, а учеников. И для выросшего без чьей-либо помощи и опеки эти двери узковаты».** Из приведенных отрывков видно, насколько иначе сам Андрей видел и оценивал свою жизнь и свой путь в литературе.

Иногда просто поражает, с какой легкостью госпожа Кудимова позволяет себе писать о том, о чем она понятия не имеет. В частности, когда она пишет об импровизациях Андрея, то считает, что он ушел «от письма в звук». Нет! Не уходил он от письма, а до последних дней работал над стихами письменно. Более того, иногда возвращался к написанным ранее и делал в них правки.

В очерке Андрей Крыжановский назван автором тоненькой книжечки. Только в памятном номере журнала «Речитатив» (автором концепции и создателем которого он является) напечатано нигде ранее не публиковавшихся стихотворений на две такие книжки. О других его публикациях, и не только стихов, которые давно уже вышли к читателю, говорить подробно незачем. Но автору очерка это знать не

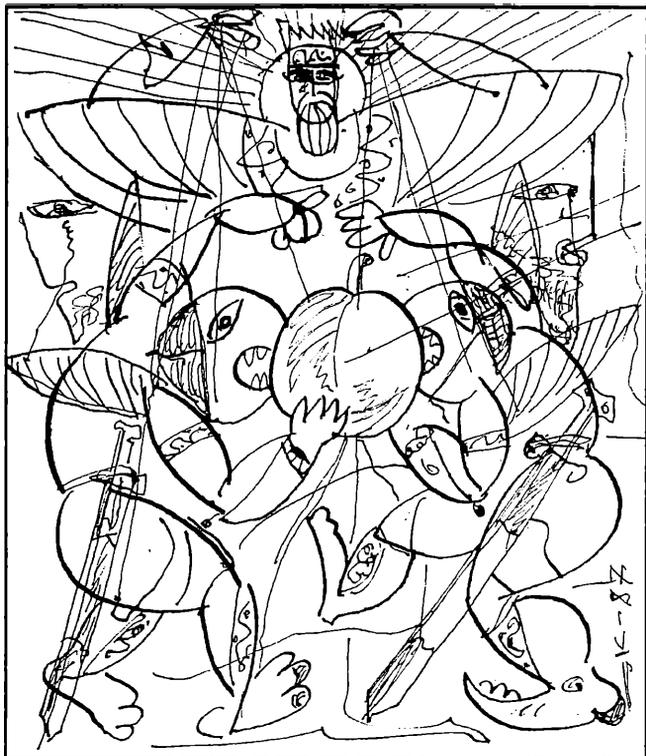
пужно — не вписывается в концепцию, которая, несмотря на вселенский размах, является следствием ущербности восприятия. Правда, ущербность эта направлена на то, чтобы нанести ущерб другим. О себе же эта «дщерь человеческая» дает хотя и короткую, но вполне пристойную справку, перечисляя все свои публикации и жанры, в которых она работает.

Используя слово, так любившееся М. Кудимовой, я назвала бы этот очерк *подселением* к жизни и творчеству Андрея Крыжановского, а ей самой адресовала бы следующие слова из его стихотворения: «схимники в деле расхлюста».

Конечно, поэтесса вольна создавать свои образы и сюжеты, придумывать идеалы, близкие ее женскому сердцу, но приплетать ко всему этому Андрея Крыжановского она, думаю, не вправе.

В одном из своих поздних стихотворений, которое опубликовано в посмертном номере «Речитатива», Андрей Крыжановский сказал о себе: «... я, честный бытописатель, искатель умолкшей музыки...»

Может, поверим поэту?



Андрей Крыжановский Из неопубликованного

ДВА ВАРИАНТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

О, бедный учитель, дурной воспитатель,
С рецептом за ядом бредущий в аптеку
И мнящий, что он гениальный писатель,
Неужто ты только играешь в Сенеку?

А этот певец иссушающей страсти,
Поэт — а какой, нам не важно, — он в зоне
Влиянья того возмутителя власти
И может лишь напоминать о Назоне.

И плебс, как положено, млеет в восторге
От дальнего эха Нероновых оргий,

А все эскадрильи и мотоколонны,
маневры, зарядки, поверки, побудки
в двухтысячелетнем почти промежутке
идут не пройдут, имя им — легионы.

И, замороженный, ты в ужасе внемлешь,
Как раб, сознающий, что Рим всеобъемлющ.

Но рифма! — ее не имел в арсенале
Из римлян никто, ни в венце, ни в опале,
История все-таки необратима —
Всего не охватит метафора Рима.

Из сб. «Странник», 1984

* * *

А. Кушнеру

Опять промозглая погода
и зданий желтые обводы
в потоках темных. В высоте

пятнисты облака, и всюду
подтаявшего снега груды
черны, как кофе на плите.

Впервые грусть во мне растет
от лепета весенних вод.
Что это — признак ли заката
или сознание того,
что к жизни я, скорей всего,
не относился непредвзято.

А кто был прав? — да тот, кто мог
плевать на всех и был нестрог,
кто с холодностью постояльца,
прибывшего на краткий срок,
смотрел на все почти как бог,
не свысока, а так, сквозь пальцы.

Из сб. «Странник», 1984

ОПЫТ РЕЦЕНЗИИ НА 2/7 СБОРНИКА «ДЕБЮТ» (Л., «Сов. писатель», 1987)

Итак, я подслушал, как мне убавляет
знакомая возраст, хоть я молодого
отнюдь и не корчу, но если считают:
незрелое ново...

Кто с правом безмыслия, кто подражания
почтенному мэтру, а мы чужеродны,
да так, что и соединительной тканью
не можем служить.

— Вы свободны! —
откликнулись вновь из издательства.

В общем,
сплотимся, друзья, кандидаты на выброс
из сада поэзии, хором возропщем,
ведь всякий же неповторим, как экслибрис,

ведь библиотекари сунутся в ящик
и ахнут: там пусто! А нам на подмогу
не выйти из граней каркаса — кто хрящик,
кто ребрышко короба для каталога,

обретшего статус и в роли атланта —
он славе подпорка! — и в роли бедняги,
орущего, что не хватает таланта
тому, на кого не хватило бумаги

(бумаги ли только?). Он кажется праздным,
когда, раскоряченный, держит поэта

в своем наизнанку атлантидообразном
устройстве, в котором мы части скелета,

которое мэтру кирпичик надгробья...

Но классик не классик без школы и свиты —
в затылок за образом встали подобья:
ячейки забиты...

* * *

Ужасное время — поэзия в анабиозе.

Как вольнолюбивым поэтам тащиться в обозе
и, локти кусая, служить для насмешек мишенью,
и, будучи этой мишенью, насмешки на счет
соседский отписывать, будто отписка дает
возможность пускай не бессмертия, так воскрешенья

хоть в чьей-нибудь памяти. Храм. Мы-то знаем, что храм
похож на подвал, на парадное, на игротеку.
Похвалим друг дружку, и тут же по сердцу бальзам.
Поэту поэт это как человек человеку,
вы помните дальше — конечно, товарищ и брат
плюс что-то такое, в чем слышится смеха раскат.

Веселого нет. Для того и ведем разговор,
чтоб смех исключить, а веселый тем более. Створ
со смехом поэзии чужд, а уж если вы в створе
с весельем, то это ирония, то есть как раз
совсем не веселое место, откуда на вас
глядит бесконечность в два ока, как небо и море,

как туча и берег, как чайка и рыбка, как пляж,
покинутый всеми. Остался железный гараж
для лодки — вот око второе, и смотрится хмуро
в холодное море холодная крыша. Гляди
на мертвое их любованье друг другом среди
покинутости и на тень человеческой фигуры,

твоей, вероятно. Но что ж ты так коротконог
и большеголов. И какой идиотский излишек
движенья и прыти, которая счастья залог.
А эта крылатая тень от коротких штанишек!
Ну, здравствуй же, здравствуй,

мой детский счастливый двойник,
теперь погляди, чем ты стал и чего ты достиг,

мой самолюбивый до спазмов, до слез эмбрион:
вот счастья тележка, а вот и успехов вагон.
Ты тянешь мне руку — отличное рукопожатье!
Приятно почувствовать истинно братский привет.
Скажи, карапуз, для чего ты явился на свет?
Какой молодчина! А я не имею понятия...

[1989—1990?]

* * *

Ты, каждый день ложась в постель,
Гляди во тьму окна
И помни, что метет метель,
И что идет война.

С. Маршак

Из интеллигентно-элитной семьи
ребенок, глядящий большими глазами
во тьму неотрывно, как смотрят на пламя,
и вдруг ощутивший непрочность земли,

а главное, зыбкость свою на земле:
мгновенье — и к телу прилипла рубаха,
и чернопрозрачный двойняшка в стекле
заплакал, хлебнув настоящего страха
не боли, а смерти. Но всхлип двойника,
привыкшего быть отраженьем и тенью,
отвлек, прозвучав, как сигнал к утешенью,
ребенок поднялся, сугулясь слегка...

Я чувствую властную силу течения:
«Мой мальчик!..» — и далее под Маршака.

В нем, помнится, был заключен целый мир,
где в качестве призрачной точки опоры
в огромностях стиля «советский ампи́р»
над черной бойницей колеблются шторы,

и может соперничать с прочностью стен
в обойно-гардинных цветах гобелен,
вместивший и светлую киноулыбку,
и скорбный намек: я боюсь перемен...

Спасает ребенок — поднявшись с колен,
он вздрогнул от мысли-картинки: как зыбко!..

[Середина 80-х годов]

* * *

Вспомним костер пионерский и стаю
шумных волчат. Хороводы. Горя,
пламя не льстит никому, выявляя
в каждом бульдожий оскал дикаря.

Кожа тоскует по татуировке,
шея тоскует по тяжести бус.
Хворост займется. К взбешенной торговке,
будто к больному, нагнется Ян Гус.

Дерево корчится. Буйное детство —
наше, твое, человечества, всех —

пламенно ратует за людоедство,
лидерства жаждет и пьет за успех,

а Буратино, заделанный в чурку,
может быть, выбиться жаждет, и вот
выше костра уплотнилась фигурка,
вытянулась, обняла небосвод...

Не повинуюсь веселости жанра
и ритуалу ребячьих забав,
может, на каждом костре саламандра
пляшет, лицом поднебесье достав.

[1986—1987?]

ВЕЧЕР ЮМОРА

Балаганчик, люди из столицы,
лицедейство, и какие лица
действуют, перевернув нутро,
как чурбак, и бледная мокрица
семенит, спеша от ваших скрыться
пальцев, Колумбина и Пьерро.

— Чья там плешь, должно быть, тверд орешек!
Посетитель мнется. Град насмешек,
и мокрица вот она, в руках.

— Поглядите, кто погрогать хочет,
бьется в пальцах, лапками щекочет! —
Всем смешно, что кто-то в дураках.

Этот кто-то к выходу, как в норку,
хохот вслед — разрядка для подкорки,
и в блаженной праздности кора.
Разве что... Но стоп, оставим это,
тут свои законы и запреты:
веселись до судорог, ура!

1986

ЦИРК

Быть гуттаперчевым мальчиком на острие
страха и счастья. Но что там за грубая сила,
плечи и шея — вид сверху — и мысль о битье,
пулей скользнувшая вдоль напружиненной жилы.

Или мордашка, похожая на артишок
и силачом завербованная в ассистентки;
сила — вид сверху — проекция шеи и ног
в тесном кружке на очерченной мелом аренке...

Цирк доморощенный, твой трагедийный контраст
плоти и духа, полета и праха земного
в мире закручен, как звонкий воздушный гимнаст
над цирковой запеленутой в бархат подковой.

Дух побеждает — полет и всеобщее «Ах!»
Действие ширится, пара артистов в ударе.
Публика-дура с восторгом и страхом в глазах
вместо партнера любитесь тельцем на шаре.

В публике мальчик, быть может тщеславнее всех,
трудностей ищет, которых другие избегнут.
Силе презренье, летящему чуду — успех!
Мальчик-гимнаст над ареной, как шпилька, перегнут.

1986

* * *

Когда, при замещеньи ночи днем,
такой дождливой ночи, что в резине
бежишь три метра с мусорным ведром
и, жмурясь, маневрируешь плащом,
а утром с кирпичей стираешь иней,

когда, роясь на фоне фонарей,
как ноты в партитуре «Дон Жуана»,
снежинки рвут незыблемость вещей,
— Без Моцарта стихам дышать вольней! —
услышу чей-то выдох из тумана.

Откуда ты, опять порочный круг
втянул в себя злосчастного Сальери.
Огонь в глазах с медлительностью рук
в родстве, как худосочность первых व्यюг
и мощь хребтов, застывших в стратосфере...

Когда, казалось, можно свысока
взглянуть в белки, подкрашенные кровью,
опять в стакан щепотка порошка,
— Ты вышил! — при подскоке кадыка —
и ревность причитает над любовью.

[1986]

* * *

По комнате бегают солнечный зайчик, в ней дышит
преддверье зимы избытком серого цвета.
Хозяин проснулся: никто от него не услышит
теперь ни строки — и зачем он носил в себе это?

Он, в воображеньи с беременными ощущая
полнейшее тождество, туче грозит: ты ответишь

за несправедливость, и мечется серенький зая,
страдая за гибель его доморожденных детищ,
которым бы жить. Виноваты и люди, но где бы
ни видеть виновных во всех нарушениях пропорций
меж знаньем и званьем, а больше ответственно небо,
привившее вкус к неудачам ему, богоборцу
и где-то безумцу. Пускай на минуту, но все же.
Пик интоксикации, приступ головокруженья...
— Шутник же ты, Отче! — и щупает, все еще лежа,
живот, испытал мимолетный позыв к всепрощенью.

[1992]

* * *

Из раковины будущее выну:
моллоск, желе... В конце — провал в трясину,
а я-то думал, взрыв, удар, когда
все проще: зуд команды комариной,
гниющий мох и ржавая вода.

Жизнь кончилась. Словечко «мимолетна»
с ней склеилось. На цыпочках, болотной
кикиморой, напялившей халат,
она растает. Ах, как мне щекотно
наружу веко вывернуть хотят.
Звон ампулы и все. Бесповоротно...

Расплывчатый громоздкий силуэт
на стыке черной и кровавой краски,
как будто мне в лицо ударил свет:
зажмурь глаза — и водопад комет,
кружков и звезд под веками. Да нет,
что там вода — огонь дикарской пляски.

Фантастика! Вот он, тот самый ад —
кометы с мягким присвистом летят
по набережным в красном полумраке.
Болотный привкус, вкрапленный в туман.
— Да где я, наконец! — Везде обман,
и золотой шишак в дымах — Исакий.

[1986]

* * *

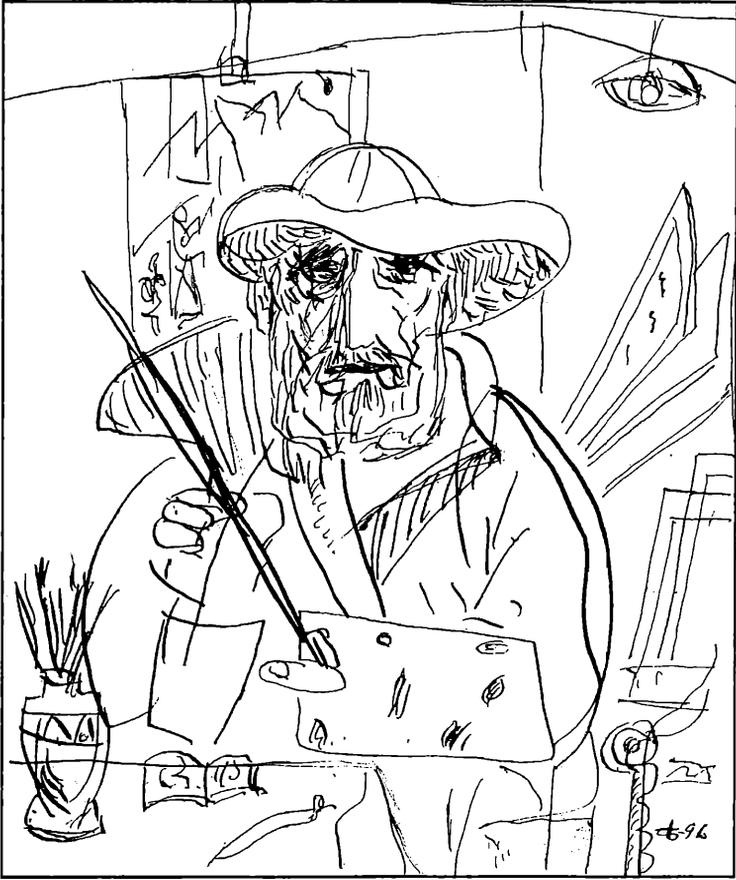
Женé

Пройди скорей и эта полоса
лавиной навалившихся невзгод,
пусть город одевается в леса,
строительство, строительство идет,
и да отдастся взятое займы —

пока хоть где-то ценят молодцов-
работников, скажи себе, что мы
имеем право жить в конце концов,
мне хочется, чтоб с головы до ног,
я смог бы одевать тебя, мой друг,
как куколку, а раз в два года мог
возить тебя, как барыню, на Юг.
Остался-то какой-нибудь пустяк —
по-крупному мы жить уже стары,
но хочется-то, хочется-то как,
как рвутся ввысь воздушные шары...

Зеленогорск, лето 1994 г.





Мы все пишем стихи; поэты отличаются
от остальных лишь тем, что пишут их словами.

Джон Фаулз

Александр Симуни

Краски осетинской земли

(творчество Андрея Баззаева)

Журнал «Речитатив» — детище Андрея Крыжановского.

Мы были знакомы. Беседовали на многие темы. Записали с ним радиопередачу о художнике Андрее Баззаеве. Участвовали в дружеском застолье. С самого начала что называется «показались» друг другу — не столь слитностью мнений, сколь сходством интересов.

Мы были знакомы один вечер.

Через несколько дней Андрей Крыжановский умер.

Как сейчас помню день — вторник — когда наша передача должна была выйти в эфир. Но вместо этого все услышали слова о смерти (и о жизни!) ставшего уже любимым радиожурналиста, подлинного поэта и рыцаря поэзии, не просто, но талантливо жившего человека...

Та запись о познакомившем нас художнике так и не прозвучала на волнах «Невского проспекта». Пусть представление здесь рисунков этого автора напомнит и об Андрее Крыжановском — широте его увлечений, душевной теплоте, высочайшем профессионализме всего, что он делал.

Андрей Баззаев — осетинский живописец: по рождению, темпераменту, самосознанию и образованию. И в то же время он петербургский художник (живет в городе на Неве уже 15 лет), которому внятна европейско-питерская составляющая мировой художественной культуры.

Описывать живопись — занятие бессмысленное.

Репродуцировать — рискованное.

Иное дело — рисунки этого автора, гораздо меньше теряющие при воспроизведении. Небольшие, скупочно-линейные, они по-эскизному обобщены. Это собственно и есть эскизы. Будь то внушительно многофигурная композиция или интимный портрет — все начинается с маленьких, кажущихся порой даже робкими «почеркушек». Однако если в них взглядеться повнимательнее, то за бархатистой мягкостью карандаша или прозрачностью первого контура можно ощутить ту живописную силу, что уже завладела образным мышлением художника и вот-вот поглотит, а лучше сказать «зажжет», расцветит поле черно-белой условности.

В напоенных южным солнцем полотнах оживут предки осетин — скифы, сарматы. Обретут дыхание родные места, где так красивы горы и так мало плодородной земли. Пройдут сцены проводов — вместе трогательных и суровых. Мы увидим вечные темы женской красоты и тепла семейного очага. И портреты, портреты. Деятели культуры Осетии и преподаватели искусства, которым Андрей всю жизнь остается благодарен. Любимая жена Ульяна. Автопортрет: аскетически-сосредоточенный человек глядит на нас глубокими темными глазами и не видит; взгляд его обращен внутрь... Может быть не только талант, но и редкая серьезность, основательность позволили Андрею Баззаеву стать «культурным главой» питерского осетинского землячества?

Они выразительны и сами по себе, эти многочисленные рисунки, подчас так и оставшиеся задумками. И они же — словно пригласительный билет на встречу с живописно-полифоническими вещами.

Национал-идиотизм, в который кое-кто до сих пор загоняет себя, не может быть побежден лишь благодатными рацеями. Национальные отношения — материя эмоциональная. Доброжелательное знакомство с культурой разных народов в этом смысле трудно переоценить.

Что прекрасно понимал Андрей Крыжановский, светлая ему память!

А тезке его, моему другу Андрею Баззаеву, как и всем нам живущим пусть поможет Господь в приумножении добрых дел!

*Александр Симуни,
председатель секции критики и искусствоведения
Союза художников Санкт-Петербурга*





ПОЭЗИЯ

Наталья Абельская

Наталья Абельская родилась в 1957 г. в городе Якутске. Окончила Ленинградский Государственный университет. Работала программистом, учителем, школьным психологом, журналистом.

Стихи публиковались в сборнике «Первая встреча» и в газете «Смена» («Поздние петербуржцы»). В 1992 году вышла первая книга стихотворений «Авторский лист».

Н. Абельская некоторое время сотрудничала с «Речитативом», но с редакцией, к сожалению, не сработалась, что не помешало ей предложить журналу свои новые тексты, а нам их опубликовать.

Редакция

* * *

Спасибо за все, чего нет —
За свет и отсутствие света,
За самый невнятный ответ,
За то, что не будет ответа.

О жизнь, порождение борьбы,
Смертельно опасное чудо!
Душа, убежав ниоткуда,
Танцует во мраке судьбы.

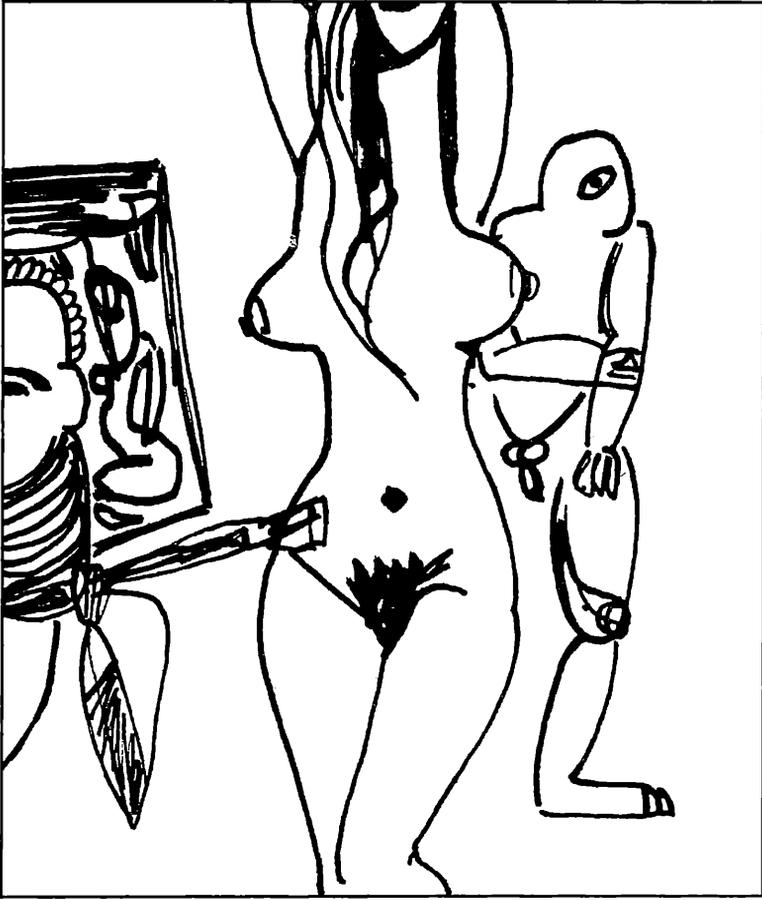
30.06.95

САД БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Купол тополя,
Облако миндаля.
В центре города — сад:
Асфальт, а внутри земля,
Где спирея пепельная
Цветет каскадом...
Любовь — примета души,
Если есть душа.
Мы учим ботанику,

Здесь вечность
Тихо движет карандаш,
Используя
Законы отраженья.
И птица медлит
В ясной глубине,
Пока художник
Ствол не обозначит.
Изобразив торжественную крону,
Он приглашает
Птицу завершить
Пейзаж... Тогда как
Мы с тобою,
Незванные из времени
Явились.
И вот, стоим
У вечности в гостях.

3.06.95



Дмитрий Толсто́ба

О себе

Родился в 1947 году в семье военного. Детство прошло в Эстонии, на природе (ни к селу ни к городу — гарнизон). Восемилетку заканчивал уже здесь, над Невой, любимая сторона — Петроградская. Корни по материнской линии — Владимирские, с отцом свидеться не пришлось. Автор двух поэтических книжек, после первой принят в Союз. Спасибо Семену Ботвиннику, Глебу Горбовскому, Сергею Давыдову и Александру Кушнеру — жизнь удалась.

Дмитрий Толсто́ба

ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА

Бывает — весел, но чаще — скушен,
молчит годами, как будто помер.
Ему при встрече кивает Кушнер,
к нему Максимов заходит в номер.
Ему Горбовский ссудил полтинник,
над ним Житинский не спал ночами.
Его отметил Семен Ботвинник,
и даже Дудин пожал плечами.
Шатает ветер телес систему,
песок балтийский сквозит в основе.
Ему Давыдов читал поэму.
Он на бильярде продул Сосноре.
Кружит со скрипом его пропеллер.
Иссохла смазка, вода вскипела.
Но с Крыщуком они как-то пели
для Моисеевой — а капелла.
Судьба по-разному приплегала
к нему — с рассудком его бредовым —
и Комарова, и Левитана,
и ту же Знаменскую с Дроздовым.
Когда не надо и нет, и не с кем,
он всякой дрянью стаканы полнит.
Он пил однажды с самим Конецким,
хоть сам Конецкий про то не помнит.
По жизни личной, сугубой, частной

бредет в обнимку с мечтой сопливой
такой ранимый, такой ужасный,
такой несчастный, такой счастливый...

НЕЛЬЗЯ

В пять никак — собранье кружка.
В семь нельзя — начнется лито.
И с утра нельзя — у Сашка
высеялось что-то не то.
Вообще нельзя — ничего.
Так она теперь говорит.
И завишу я от того,
что у Сашки брюшко сварит.
И завишу я от кружка,
от прыжка к пивному ларьку,
от снежка своих сорока,
от того, что рыльце в пушку.
От того, что эту суму,
по стезе событий сквозя,
ни спихнуть, ни сбыть никому,
ни снести, ни кинуть нельзя.

ПОЭТ

Жил поэт с душой, коверкавшей пространства.
И при нем жила его сомнений свора.
Жил да был, и дотянул до антипьянства,
преферанства и саксонского фарфора.
В час, когда ему светили окна Пряжки,
он бесстрашно обнимал подружку-музу.
Он теперь перетирает блюдца-чашки,
вечерами желтый шарик гонит в лузу.
Вот он к кошке подошел, но не погладил.
Раскраснелся, словно выщедил косую.
«Я дознаюсь, — говорит, — кто мне нагадил,
кто заслал на мя в издательство писулю...»
Как-то стыдно, но не больно и не жалко,
знаю я, что океаны не мелеют,
что души его космическая свалка
все дымит, переливается и тлеет.
А вчера его видали на Фонтанке
в ночь парада в честь рождения Республик.
Он просил танкиста сонного на танке
доставить его до площади за рублик.
Жив поэт еще. Темна его дорога,
но тревога откровенно неуместна.
Час придет, и он потребует у Бога
доставить его за трешницу до места.
Вон сидит, сжимая карты, стиснув зубы,
выделяется на фоне звездной пудры
этот тип, немногочисленный, как зубры,
и судьбой оберегаемый, как зубры.

Как живу? Живу старея.
За окном не лето.
Холодна, как батарея,
горничная Света.
Отдыхаю от скитаний.
Это наслаждение —
день-деньской играть с китами
в преферанс на деньги.
А ночами север снится,
в белых перьях берег.
А в окно стучит синица,
и Житинский — в двери.

ЧУКОТКА

Землей не назвать:
пласты, слои —
каменные края.
Но, если нет у тебя семьи —
ты сам для себя семья.
И если нет под тобой земли,
ты сам для себя земля.
И сам по себе
под крик волны
шагаешь, тропу долбя.
А камни всюду себе равны
и замкнуты на себя.

УСТАЛОСТЬ

Вся компания моя —
это я.
Хорошо, что в эти дни
мы одни.

ШЕЛ ЧЕЛОВЕК (считалка от бессоницы)

Шел человек-сад,
Шел человек-сон,
Шел человек-гад,
Шел человек-слон.
Шел человек-лес,
Шел человек-жук.
Шел человек-блеск,
Шел человек-жуть.

Шел человек-пух,
Шел человек-воск.
Шел человек-дух,
Шел человек-мозг.
Шел человек-ринг,
Шел человек-гонг.
Шел человек-пинг,
Шел человек-понг.
Шел человек-свинг,
Шел человек-свин,
Шел человек-пинг,
Шел человек-вин.
Шел человек-мак,
Шел человек-хрен.
Шел человек-Марк,
Шел человек-Твен.
Шел человек-финт,
Шел человек-галс.
Шел человек-финн,
Шел человек-галл.
Шел человек-бриз,
Шел человек-взмах,
Шел человек-приз,
Шел человек-прах.
Шел человек-тих,
Шел человек-тать.

Был человек — псих.
Шел человек — спать.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ

Видит Игорь — дело худо:
дол от крови полинял.
Бьют славян, как бьют посуду.
«Ну, Кончак, кончай меня!»

Тот кумысом чашу вспенил,
обглодал баранью кость,
объявил: «А ты — не пленник.
Ты желанный очень гость».

Воеводы накачались,
обнимались: «Ах, кунак!
Ты начальник, я начальник!
Друг без друга нам никак!»

Мерз в кустах Овлур осипший,
а из полога неслось:
«Заезжай, сразимся, выпьем!..»
Так с тех пор и повелось.

ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МАРЦИАЛЛА

*

Наш Флавий отличился:
он, стоя у руля,
раз восемь помочился
по ходу корабля.

И снова что есть мочи
стриючком своим затряс.
Опять мочиться хочет?
Утопит малый нас!

*

Хочешь со мною спать ты,
Хлоя, но дай ответ:
прежде, чем скинуть платье,
черта ль ты гасишь свет?

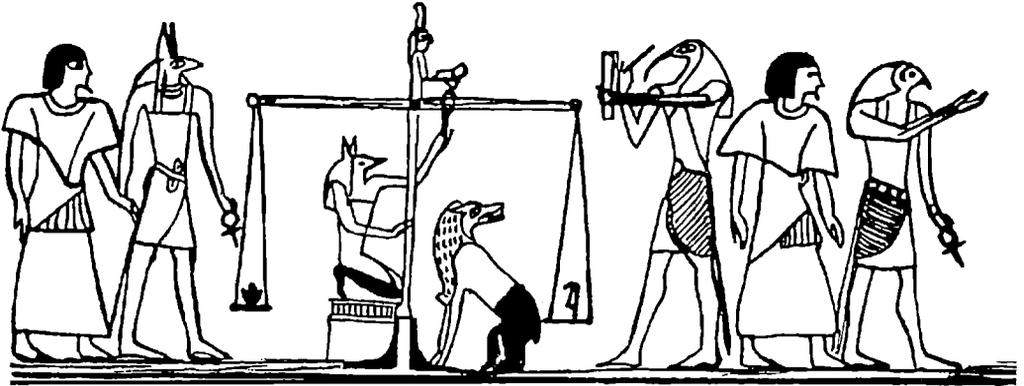
Видимо есть причины,
видно изъян таишь.
На животе ль морщины?
Бедрa ль жирны твои?

Хло, не стыдись напрасно
собственной наготы.
Ты все равно прекрасна —
круглая дура ты.

*

Не смешно ли? — голос тонкий,
а о юбках говорит.
Не идут за так девчонки —
он подарки им дарит.

Милый мой, не лезь из кожи,
денег зря не трать в гульбе,
или то, что встать не может,
встанет дорого тебе.



Красноречивый поселянин

Эта повесть, созданная блистательно талантливым писцом, была очень популярна в Египте: текст ее много раз копировался (до нас дошло пять экземпляров). Возможно, в основу сюжета лег подлинный случай из древнеегипетского судопроизводства конца III тысячелетия до н. э.

Перевод выполнен нерифмованными стихами; в оригинале он написан прозой — незамысловатой и даже довольно бесцветной вначале, где происходит завязка сюжета, и — вычурной, полной сочных эпитетов и метафор, местами ритмизированной — в тех фрагментах, где ограбленный поселянин витийствует перед вельможей фараона, моля о справедливости. Собственно, не сюжет с ограблением, а речи поселянина (их девять) составляют содержание повести.

Многие фразы в этих речах построены на игре созвучий. Египтяне не только считали, что нагромождение созвучий — это красиво (в отличие от нас, для кого фраза типа «**заросли растений выросли выше роста рослого подростка**» была бы свидетельством полной стилистической глухоты автора), — но, при их вере в магию и творческую силу слова, произнесенного вслух, речь, насыщенная созвучиями, казалась им более мудрой, глубже аргументированной, а стало быть, более убедительной и действенной. В частности, из-за обилия созвучий перевод, рассчитанный на массового читателя, приходится делать стихотворным.

В квадратные скобки заключены фрагменты, отсутствующие в подлиннике и добавленные для лучшего понимания текста. Жирным шрифтом выделены фразы, которые в папирусе написаны красной краской (в разных экземплярах текста некоторые выделения не совпадают). **Поселянин**, главный персонаж повести, — в буквальном переводе «полевой»; обычно этим словом называли крестьян-земледельцев, но «полевым» мог именоваться и просто не городской житель. **Соляное Поле** — оазис в западной части Дельты, современный Вади Натрун. **Ненинесут**, куда направляется поселянин, — город южнее Дельты и западней главного русла Нила; в конце III тысячелетия до н. э. — столица Египта. Богом-покровителем города считался Херишеф (он упоминается в повести) — мужчина с головой овна; греки отождествляли его с Гераклом, — отсюда греческое название города Гераклеополь. Остальные имена и термины разъясняются в примечаниях.

При составлении примечаний частично использованы комментарии И. Г. Лившица к его прозаическому переводу повести (см.: Сказки и повести Древнего Египта / Пер. с древнеегипетского и комментарии И. Г. Лившица. Л., 1979).

Печатается в сокращении. Полностью этот перевод опубликован в книге «Легенды и мифы Древнего Египта» (СПб.: ТОО «Нева», «Университетская книга», 1997).

Был человек по имени Ху-н-Инпу
— «Анубисом¹ хранимый», поселянин
из Соляного Поля. У него
была жена; она носила имя
«Возлюбленная» — Мерет.

И однажды
сказал своей жене тот поселянин:
«Послушай, собираюсь я спуститься
в Египет, чтоб оттуда для детишек
продуктов принести. Так что — ступай,
отмеряй ячменя мне; он — в амбаре:
остатки прошлогоднего зерна».

И вот в Египет этот поселянин
отправился, ослов своих навьючив
растениями, солью, древесиной
и шкурами [свирепых] леопардов,
и волчьим мехом; а еще — камнями,
растений благовонных семенами
да голубями и другою птицей
поклажа та наполнена была.
Все это были Соляного Поля
различные хорошие дары.

Шел поселянин, направляясь к югу, —
в ту сторону, где город Ненинесут.
Достиг он вскоре области Пер-Фефи,
что севернее Меденит. И там —
там встретил поселянин человека,
на берегу стоявшего. Он имя
носил Джахутинахт — «Силен бог Тот²»;
он сыном приходился человеку
по имени Исери. Оба были
людьми распорядителя угодий
вельможи Ренси, сына Меру³.

Этот
Джахутинахт, едва лишь он увидел
ослов, которых поселянин гнал,
[и всю великолепную поклажу],

как в его сердце алчность загорелась,
и [сам себе] сказал Джахутинахт:
«Эх, вот бы мне изображение бога
с такую чудодейственную силой,
чтоб удалось мне с помощью той силы
добро у поселянина отнять!»

А дом Джахутинахта находился
у тропки, что вдоль берега тянулась.
Узка [дорожка] там, не широка:
набедренной повязки вряд ли шире;
обочина ее — вода [речная],
а по другую сторону — ячень.

**И приказал Джахутинахт холопу,
его сопровождавшему:** «Иди-ка
и принеси мне полотно льняное
из дома моего».

И тотчас ткань
доставлена была Джахутинахту.
Он тут же расстелил ее на тропке
[ни обойти ее, ни перепрыгнуть]:
один конец — в ячменные колосья,
другой, где бахрома, — на воду лег.

Все люди той дорогой беззапретно
могли ходить. И поселянин тоже
спокойно шел. **Как вдруг Джахутинахт
его окликнул:** «Эй, поосторожней!
Смотри не потопчи мои одежды!»

Ему на это молвил поселянин:
«Что ж, поступлю я, как тебе угодно.
Мой верен путь. [Другой дороги нету,
и — выхода мне нет, коль путь закрыт]⁴.
И он поднялся выше по обрыву.

Тогда Джахутинахт прикрикнул [грозно]:
«Что ты собрался делать, поселянин?
Иль мой ячень тебе дорогой будет?»

Ему сказал на это поселянин:
«Мой верен путь. [Другой дороги нету,
и — выхода мне нет, коль путь закрыт.]
Обрывист берег [— не взойти на кручу,
а здесь] — ячень встал на пути [стеною],
дорогу же ты нам переграждаешь
одеждами своими... Может, все же
ты дашь пройти нам по дороге этой?»

Но только речь закончил поселянин, —
один из тех ослов, [которых гнал он],
стал поедать ячменные колосья
и полный рот колосьями набил.
И тут Джахутинахт вскричал: «Смотри-ка!

Осел твой жрет ячмень!.. Что ж, поселянин,
за это я беру его себе.

Отныне будет он топтать колосья
во время молотьбы, [а не на поле]».

Промолвил поселянин: «Путь мой верен,
[и не было мне выхода иного]:
дорога здесь — одна, но ты ее
мне преградил. Вот почему повел я
ослов другой дорогою — опасной:
[ведь там ячмень! Ослы его не могут,
увидевши, не съесть; они ж — ослы,
они не понимают, что — запретно!]
И вот теперь осла ты отбираешь
за то, что рот колосьями набил?..
Но я — учти! — я знаю, кто владыка
усадьбы этой: вся она подвластна
начальнику угодий, сыну Меру —
вельможе Ренси. Он — учти! — карает
грабителя любого в этих землях
до края их!.. Неужто буду я
в его поместье собственном ограблен?!»

Джехутинахт сказал: «Не такова ли
поговорка, что повторяют люди:
мол, произносят имя бедняка
лишь потому, что [чтут] его владыку?..
Я говорю с тобою. Я!! А ты
начальника угодий поминаешь!»

Схватил он тамарисковую розгу
зеленую — и отхлестал нещадно
все тело поселянина той розгой;
ослов забрал, увел в свою усадьбу.

И десять дней подряд тот поселянин
стоял и умолял Джехутинахта
[вернуть ему добро]. Но не внимал он.

И поселянин в город Ненинесут,
на юг пошел, чтоб с просьбой обратиться
к вельможе Ренси, сыну Меру.

Встретил
он Ренси у ворот его усадьбы,
когда тот выходил и вниз спускался,
чтоб сесть в свою служебную ладью, —
[а та ладья] принадлежала дому,
в котором правосудие [вершится].

И поселянин [вслед ему] воскликнул:
«Ах, если бы дозволено мне было
возрадовать твое, вельможа, сердце⁵
той речью, [что хочу тебе сказать!

Но знаю: тебе некогда, ты занят], —
так пусть ко мне придет твой провожатый,
любой, что сердцу твоему угоден:
[ему свою поведаю я просьбу]
и с этим отошлю к тебе обратно».

И по веленью сына Меру Ренси
направился его сопровождаый,
который был его угоден сердцу,
которому он доверял всех больше.

[Ему поведав о своем несчастье],
послал его обратно поселянин,
и тот всю речь пересказал подробно.

Молчание хранил глава угодий
вельможа Ренси, сын вельможи Меру:
сановникам своим он не ответил,
не дал и поселянину ответа.

Тогда явился этот поселянин,
чтоб умолять правителя угодий
вельможу Ренси, сына Меру.

Молвил
он [сыну Меру]: «О, глава угодий,
владыка мой, великий из великих!
Тебе подвластно все, что есть на свете,
и даже то, чего на свете нет!
Коль спустишься ты к озеру, вельможа, —
к тому, что Справедливостью зовется,
и поплывешь под парусом⁶, — пускай же
твои не оборвутся паруса,
ладья твоя движенья не замедлит,
беды с твоею мачтой не случится,
и рей не сломаются твои,
не поскользнешься ты, сходя на берег,
не унесет тебя волна [речная]
и не вкусишь ты ярости потока,
и не узришь, [каков] у страха лик!
Плывут к тебе стремительные⁷ рыбы,
ты [только] жирных птиц сетями ловишь, —
[а столь удачлив ты] по той причине,
что ты — [родной] отец простолюдину,
муж для вдовы и брат для разведенной,
и потерявшим матерей — защитник.

Дозволь же мне твое, вельможа, имя
прославить по земле — [прославить] больше
любого справедливого закона!
О предводитель, скаредности чуждый;
великий, чуждый низменных деяний;
искоренитель лжи, создатель правды, —
на голос вопиющего приди!

Повергни зло на землю! Говорю я,
чтоб слышал ты! Яви же справедливость,
восславленный, хвалимыми хвалимый,
избавь [меня] от моего несчастья:
ведь на меня беды взвалилось [бремя],
ведь я изнемогаю от него!
Спаси меня — ведь я [всего] лишился!»

Держал же поселянин эти речи
во времена, [когда Египтом правил]
Величество Верховья и Низовья
Небкаура, что голосом правдив⁸.
Отправился глава угодий Ренси,
сын Меру, [к фараону в зал приемов]
и пред Его Величеством сказал:
«Владыка мой! Мне встретился [намедни]
один из поселян. Его слова
отменно справедливы и прекрасны!
Тут некий человек, мой подчиненный,
имущество его себе присвоил, —
и он ко мне пришел просить [защиты]».

Тогда Его Величество промолвил:
«Коль для тебя всегда желанно было,
чтобы здоровым видели меня, —
ты удержи-ка здесь его подольше
и на его мольбы не отвечай:
молчи! пусть сам он речи произносит!
Пусть речи те запишут [на папирус]
и нам доставят. Мы их будем слушать.

Но только позаботься, чтобы было
чем жить его жене и ребятишкам:
ведь ни один из этих поселян
[на промысел из дома] не уходит,
покуда [закрома] его жилища
до самой до земли не опустеют...
И, кстати, чтобы сам тот поселянин
был телом жив, ты тоже позаботься:
корми его. Но он не должен знать,
что это *ты* его снабжаешь пищей!»

И вот явился этот поселянин
второй раз умолять [вельможу Ренси].
Сказал он: «О, угодий управитель,
владыка мой, великий из великих,
богатый из богатых, величайший,
вельможа среди [избранных] вельмож!
[Ты] — небесам кормило рулевое,
[ты] — для земли [такая же] опора,
как балка поперечная [для крыши,
ты] — гирька на строительном отвесе!
Так не сбивайся же с пути, кормило!

Не прогибайся же, опора-балка!
Не отклоняйся вбок, отвеса нить!

Но господин великий отбирает
[имущество другого человека],
который для него — не господин,
который одинок и беззащитен.

А между тем в твоём, вельможа, доме
всего довольно! Караван хлеба,
кувшины с пивом — все для пропитанья
найдется там!.. Ужель ты обеднеешь,
кормя подвластных всех тебе людей?
Ужель ты собираешься жить вечно?
Ведь смертный умирает точно так же,
как [вся] его прислуга...

Сколь грешно
весам — фальшивить, стрелку отклоняя;
а человеку честному, прямому —
[бесстыдно] справедливость исказить!
Гляди же, как пограл ты справедливость:
чиновники — дурные [речи] молвят,
[насквозь] корыстным стало правосудье:
дознатели судейские — хапуги,
а тот, кому в обязанность вменялось
пресечь клеветника — сам клеветник!

кому со злом предписано бороться —
он сам злодей!»

И тут глава угодий,
вельможа Ренси, сын вельможи Меру,
предостерег: «Тебя слуга мой схватит,
[и будешь ты безжалостно наказан
за наглые такие оскорбления]!
Неужто сердцу твоему дороже
твое добро?»

Но этот поселянин,
[не вняв угрозе], дальше говорил:
«Крадет зерно учетчик [урожая];
он должен увеличивать богатство
хозяина — а он чинит убыток
его хозяйству... Тот, кому пристало
законопослушанию учить —
он грабежу потворствует!..

И кто же
преградой встанет на пути у зла,
когда он сам несправедливец — он,
кто должен устранять несправедливость!
Он только с виду честным притворился,
а [сердцем] — в злодеяниях погряз!..

Иль к самому тебе, [вельможа Ренси],
все это отношения не имеет?..

Живуче зло! Но покарать его —
одной минуты дело. [Покарай же!]
Поступок благородный обернется
тебе ж во благо. Заповедь гласит:
„Воздай [добром за доброе] деянье
тому, кто совершил его, чтоб [снова]
он [доброе] деянье совершил!“
А это значит: одари наградой
усердного в работе человека;
и это значит: отведи удар
заранее, пока не нанесен он;
и это значит: дай приказ тому,
кто приказанья исполнять обязан!

О, если б ты познал, [сколь это тяжко] —
быть разоренным за одно мгновенье!..
Зачах бы на корню твой виноградник,
случился бы падеж домашней птицы,
и дичь бы на болотах истребили!..
Но зрячий — слеп, и внимлющий — не слышит,
и превратился в грешника наставник».

**И в третий раз явился поселянин,
чтоб умолять его, [вельможу Ренси].**
Сказал он: «О, угодий управитель,
мой господин, ты — Ра⁹, владыка неба,
с твоею свитой! Ты — [податель] пищи
для всех людей; разливу ты подобен;
ты — Хапи¹⁰, что лугам приносит зелень
и жизнь дарует пашням опустелым!

Так пресеки грабеж и дай защиту
тому, кто угнетен; не превращайся
в стремительный и яростный поток,
[к которому никак не подступиться]
тому, кто [о защите] умоляет!
Ведь вечность уже близко — берегись!

Не говори неправды! Ты — весы;
язык твой — стрелка, губы — коромысла,
а сердце — гирька. Если ты закутал
свое лицо перед разбоем сильных, —
то кто ж тогда бесчинства прекратит?!

Подобен ты презренному вовеки
стиральщику белья, что жаден сердцем:
он друга подведет, родных оставит
ради того, кто даст ему работу;
кто ему платит — тот ему и брат!

Ты лодочнику жадному подобен,
который перевозит [через реку]
того лишь, кто способен заплатить!

Ты честному [подобен] человеку,
но только честь — хромая у него!

Начальнику амбара ты подобен,
который строит козни бедным людям!
Ты — ястреб для людей: он поедает
тех птиц, что послабее!

Ты — мясник,
который получает наслаждение,
убийства совершая, — и никто
винить его не станет за страданья
зарезанных [баранов и быков]!»

Держал же поселянин эти речи
к главе угодий Ренси, сыну Меру,
у входа в дом суда.

И Ренси выслал
охранников с плетью его унять.
И прямо там они его нещадно
плетью избили с ног до головы.

Тогда промолвил этот поселянин:
«Идет сын Меру поперек [закона]!
Его лицо ослепло и оглохло,
не видит и не слышит ничего!
Заблудший сердцем, память растерявший!

Ты — город без правителя!.. Ты словно
толпа без предводителя!.. Ты словно
ладья без капитана на борту!..
Разбойничий отряд без атамана!..»

В четвертый раз явился поселянин,
чтоб умолять его, [вельможу Ренси].
Застав его при выходе из храма
Херишефа, он так ему сказал:
«Прославленный, Херишефом хвалимый —
тем [богом], что на озере своем¹¹,
из чьей [святой] обители ты вышел!

Добро сокрушено, ему нет места, —
повергни три неправды ниц на землю!¹²

Охотник ты, что тешит свое сердце,
одним лишь развлеченьям предаваясь:
гарпуном убивает бегемотов,

быков стреляет диких, ловит рыбу
и ставит сети и силки на птиц.

Уже в четвертый раз тебя молю я!
Неужто прозябать мне так и дальше?!»

[Поселянин приходит к Ренси девять раз и произносит девять речей, обличая разгул несправедливости вокруг и упрекая Ренси в бездействии и попустительстве беззаконию. Распорядитель угодий, во исполнение наказа фараона, по-прежнему оставляет жалобы без ответа. Потеряв, наконец, терпение, поселянин заявляет:]

«Проситель оказался неудачлив;
его противник стал его убийцей...
[Опять] ему с мольбой [идти] придется,
[но — не к тебе уже, вельможа Ренси!]
Тебя я умолял — ты не услышал.
Я уйду. Я жаловаться буду
Анубису-владыке на тебя!»

И тут глава угодий [фараона]
вельможа Ренси, сын вельможи Меру,
двух стражников послал за ним вдогонку.

Перепугался этот поселянин:
подумал он, что делается это
затем, чтоб наказать его [сурово]
за [дерзкие] слова.

Воскликнул он:
«Разлив воды для мучимого жаждой,
грудное молоко для уст младенца, —
вот что такое смерть для человека,
который просит, чтоб она пришла,
но — тщетно: медлит смерть и не приходит!»

Сказал тогда глава угодий Ренси,
сын Меру: «Не пугайся, поселянин!
С тобой ведь для того так поступают,
чтоб ты со мною рядом оставался».

Промолвил поселянин: «Неужели
вовсе мне твоим кормиться хлебом
и пиво пить твое?»

Ответил Ренси,
глава угодий, сын вельможи Меру:
«Останься все же здесь, и ты услышишь
все жалобы свои».

И приказал он,
чтоб слово в слово зачитали [их]
по новому папирусному свитку.

Затем глава угодий [фараона]
вельможа Ренси, сын вельможи Меру,
доставил [свиток с жалобами теми]
Величеству Верховья и Низовья
Небкаура, что голосом правдив.
И было это сладостней для сердца
Величества Его, чем вещь любая
египетских земель до края их!

И рёк Его Величество: «Сын Меру!
Сам рассуди и вынеси решение!»

Тогда глава угодий [фараона]
вельможа Ренси, сын вельможи Меру,
послал двух стражей за Джехутинахтом.
Когда его доставили, был [тотчас]
составлен список...

[Заключительные 7 столбцов текста разрушены. По отдельным уцелевшим словам, однако, можно понять, что справедливость восторжествовала: поселянину возвратили его ослов с поклажей, а все имущество Джехутинахта — 6 человек прислуги, домашний скот и запасы полбы и ячменя — было конфисковано.]

ПРИМЕЧАНИЯ

1 А н у б и с (грецизированная форма египетского Инпу) — бог бальзамирования, провозжавший умерших на Загробный Суд. Изображался обычно в виде человека с головой шакала.

2 Тот — бог мудрости и письма; изображался в виде человека с головой ибиса и в виде павиана.

3 Имя «Исери» буквально означает «Тамарисковый», «Меру» — «Любимый», значение имени «Ренси» неясно.

4 Фразы, которая заключена в квадратные скобки, в подлиннике нет, но, как установил Санкт-Петербургский египтолог А. С. Четверухин, предыдущая фраза «верен мой путь» составлена наподобие каламбура и содержит прямой намек на другие смыслы: «нет пути» и «нет выхода». Эта фраза повторяется в повести трижды.

5 «Возрадуй сердце свое» — этикетная фраза, которой полагалось предварять обращение к человеку более высокого чина (независимо от характера известия или просьбы: они могли быть отнюдь не радостными).

6 В оригинале игра созвучий: «маау» — «парус», «маат» — «истина, правда». Это понятие подразумевало не только справедливость в нашем понимании, но также и естественный порядок вещей, законы природы — смену времен года, движение светил, разливы Нила и т. д.

7 Фраза с двойным смыслом: прилагательное «стремительный, шустрый» звучало так же, как глагол со значением «колоть острой (рыбу)». Кроме того, «стремительные» можно истолковать в значении «быстро мечущиеся», т. е. «пугливые», и прочесть весь фрагмент иначе: «не увидишь ты испуганного лица: ведь даже пугливые рыбы [сами] к тебе плывут...»

8 «Правдивый голосом», «правогласный» — эпитет, которым полагалось сопровождать имя умершего. В период, когда создавалась повесть о красноречивом поселянине, основное значение этого эпитета было: «тот, чьи слова и поступки не

нарушали миропорядка, установленного богиней правды Маат». Позднее «правдогласный» стало означать: «тот, чьи клятвы в безгрешности перед Загробным Судом правдивы, оправданный Судом».

9 Ра — бог солнца, верховный бог пантеона.

10 Хапи — бог Нила, податель разливов, и Нил как таковой.

11 «Тот [бог], который в своем озере» — буквальное значение имени Херишеф: главными культовыми центрами этого бога были Ненинесут и Фаюмский оазис с Меридовым озером.

12 Ранее, в третьей речи (этот фрагмент опущен), поселянин, упоминая *три* символа справедливости — ручные весы, «стоячие» весы и честного человека, — взывает к Ренси: «Будь подобен этой *триаде*; если триада попустительствует — попустительствуй и ты!»

*Перевод, вступительная заметка
и примечания — Иван Рак*



РУБРИКА РЕДАКТОРА

Михаил Дайнека

Играем в поддавки и в классики

О первом и последнем за истекший год
номере журнала петербургской поэзии «Невский Альбом»
(СПб.: Terra Fantastica, 1996. Тираж 500 экземпляров).

Из возможных вариантов «поведения» редактора журнала на страницах редактируемого им издания есть два крайних. Первый — оставаться все время «за кулисами» и оттуда по мере сил подправлять ход событий, диктуемый законами жанра. Второй равновозможный вариант — позиция активного, открытого участия в действии. Начиная с самого первого номера главный редактор «Речитатива» выступал «с открытым забралом», и мы пока не видим необходимости менять эту традицию.

Но уважаемым оппонентам редакция «Речитатива» считает необходимым напомнить, что позиция главного редактора журнала и позиция редакции — не одно и то же, и уж тем более никоим образом не причастны к резким суждениям главного редактора авторы нашего издания.

Иными словами, все претензии — мне.

Михаил Дайнека

Признаться, выхода журнала «Невский Альбом» я ждал с нетерпением: как же, конкурирующее издание, задуманное альтернативой «Речитативу», да еще и осуществляемое с помощью издательства «Terra Fantastica», которое некогда поддержало и наш журнал. Ожидание подогревалось несообразно долгой для такого рода малотиражной брошюры подготовкой, но вот, и года не прошло, «Невский Альбом» увидел свет.

И несказанно удивил, нет, не то слово: «Да, он чрезвычайно поразил меня, ах, как поразил!» — точь-в-точь по реплике Мастера.

Недоумения начались сразу же — с обложки, с подзаголовка «журнал петербургской поэзии». Ну вот вам здарсьте с таким провинциальным (чтобы не сказать — местечковым) шовинизмом и подразумеваемым противопоставлением поэзии «нашей» и «чужой» — петербургской и московской, надо полагать, или, упаси Боже, урюпинской! Так позвольте же сразу поздравить создателей свежееиспеченного журнала с открытием нового нашего земляка — Франсуа Вийона, угодившего со своими специфическими «Балладами на цветном жаргоне» в раздел «Академия». Очень, однако, своеобразно выглядит под этой шапкой странноватый перевод Ю. Б. Корнеева. Читаем: «Атас! Менты!» Не хочешь, а засмеешься: «Полицейская академия» или «Мои университеты». Так что еще раз по Булгакову: «Поздравляю вас... соврамши!»

С рубрикацией, с названиями разделов у создателей журнала дело определенно не заладилось. Право слово, рубрику «Хроника текущих событий», где помещено стихотворение Олега Охупкина, датированное 1967 годом, и его речь на получение Державинской премии за 1994 год, было бы корректнее определить как «Хроника истекших событий» или, например, «Дела давно минувших дней». То же в разделе «Портрет поэта» — редакционные поздравления Александру Кушнеру с премией «Северная Пальмира» запоздали на пару лет. Впрочем, фотография поэта, предваряющая раздел, довольно удачна, чего никак не скажешь о исполненной скромности формулировке мэтра в автобиографической врезке: «Попробую сказать не так категорично: наверное, есть поэты с биографией и поэты без биографии». Впрочем же, Марина Цветаева хоть и выступила со статьей «Поэты с историей и поэты без истории» несколько раньше, но разумеется, она была родом из Москвы... Не могу назвать приемлемым и продолжающее раздел сочинение Алексея Машевского «Бродский и Кушнер», выполненное с заведенным косноязычием, но там, по крайней мере, здравые мысли частично увязаны с отсылками на их авторов.

Но больше о Кушнере ничего плохого: стихотворения мэтра все те же, что были двадцать лет назад. А что касается разделов «Стихи» с текстами современных стихотворцев В. Гандельсмана (с посвящением первого В. Черешне) и В. Черешни (без посвящения В. Гандельсману), то, безусловно, бывает хуже — но должно-то быть лучше, то есть по-своему, а не по принятому.

Единственный свежий материал номера — стихотворения детей, предваренные заметкой Михаила Яснова «Гений — это четко сформулированное детство», составившие раздел «После нас»... Но вот до нас, напомним, жила некая маркиза Помпадур, которая однажды перефразировала слова древнегреческого поэта и сказала: а после — хоть потоп, дескать. А Людовик XVI растиражировал этот сомнительный афоризм на всю просвещенную Европу, породив такое «эхо интертекстуальности», что нужно быть напрочь лишенным литературного слуха, чтобы не расслышать его в названии раздела.

Но подлинным «апофегеем» в развитии номинативной мысли создателей нового журнала оказался «Петербургский Аргус». Вообще-то, Аргус (греч. — Аргос) в античной мифологии — неусыпный великан, тело которого испещрено бесчисленным множеством глаз (по другим версиям, сто или четыре глаза). Был приставлен Герой стражем к Ио, превращенной в корову, и убит Гермесом по приказу Зевса, после чего Гера перенесла глаза Аргоса на оперение павлина... С цифирью у составителей раздела очевидная нестыковка, но все-таки в известной точности — в точности навыворот — названию не откажешь и содержание иначе, чем павлиньим хвостом из пяти рецензий, не назовешь.

Открывается парад откликом Елены Елагиной «Маятник любви» на сборник Т. Вольтской «Стрела» (год издания 1994, а не 1995, как в рецензии), а заканчивается шествие вокруг священной коровы поэзии безымянным отзывом Татьяны Вольтской на многострадальную малотиражку Е. Елагиной «Между Питером и Ленинградом». И все довольны, а называется такое мероприятие: ать-два и в дамки, или играли дамы в поддавки и в классики. Один из проходных пассажей поэтессы Елагиной позволю себе процитировать: «Ежели Ахматова полагала, что именно она научила женщин говорить, то Цветаева в таком случае убедила их, что вовсе не зазорно вопить, требуя недоданное и проклиная недодавших или вообще неоткликнувшихся с бесстыдством ненасытной нимфоманки»... Что-то не везет «бесстыдному» автору «Вечернего альбома» на суровых берегах Невы.

Увы и еще раз увy, новый журнал поэзии, о необходимости которого так долго говорили наши оппоненты, решительно не сложился, и название его в данном случае строго рифмуется с неприятным словечком облом. «Альбом» вышел на диво неприглядным. Разумеется, дело не в оформлении — оно достойно повторяет «Речитатив» с точностью до нестандартного формата. И не в грубых опечатках — это общая беда малобюджетных изданий, в случае с «Невским Альбомом» потенцированная явным отсутствием крайней в нашем неблагоприятном деле фигуры выпускающего редактора.

И даже не в трудноисключимых несурзацах, так режущих глаз; правда, их слишком много, что особенно удивительно, поскольку главным редактором журнала является проф. Б. В. Аверин, человек весьма строгих правил, склонный — сужу по собственному опыту — высчитывать количество знаков на машинописной странице дипломной работы студента. Нет, все это было бы преодолимо, но...

Первый и основной вопрос любого издателя — вопрос предназначения издания, вопрос аудитории. Это азы нашего ремесла, уважаемые коллеги! Именно здесь проходит разделительная линия между «Речитативом» и «Невским Альбомом». Принципиальная разница между нашими журналами суть различие меж экстравертом и интравертом. «Речитатив» рассчитан на читателя поэзии, а не на писателя стихов, что никоим образом не исключает из числа наших читателей настоящих поэтов. Мы не можем охватить всю панораму поэтического мира, но стремимся быть интересными в границах наших возможностей. А создатели «Невского Альбома», подзабыв Козьму Пруtkова с исчерпывающим «нельзя объять необъятное», на словах надеются, что «новый журнал действительно будет представлять всю петербургскую поэзию», но на деле — на деле журнал оказался ориентированным на тесный междусобойчик неприкаянных «вечномолодых» членов Союзписа, то есть на пресловутую «широкую известность в узком кругу», а потому производит впечатление безадресной анонимки.

Говоря мягче, у «Альбома» нет лица, и это не болезнь роста, а генетический дефект. Лица нет, зато есть незаурядный менеджер Андрей Столяров, некогда выпустивший собственную книгу с выразительным названием «Альбом идиота». Оставив в стороне произвольное ассоциирование, незауряд-менеджера, обеспечившего журналу немислимой протяженности издательский цикл, стоит поздравить как с приобретением новой специальности, во всех отношениях актуальной в не слишком благоприятное для литературной деятельности время, так и с новообретенным ампула составителя серии (из одной книжки) приложений к «Невскому Альбому». Андрей Михайлович, позвольте заметить, по праву опыта напутствуя Вас на тернистом поприще: менеджер — профессия не стерильная, скорее наоборот, но и у нас есть профессиональная этика. Мне отчасти лестно, что редактируемая мною серия книг «Арте-факт», которая выходила и будет выходить параллельно с журналом «Речитатив», не только получила признание, но и породила издательское эпитонство. Менеджер отвечает за все, а задача менеджмента в издательском деле не копировать более-менее удачные образцы опять-таки с точностью до нестандартного формата, а творчески развивать их за неимением собственных идей. Ваше подражание особенно досадно, ибо сборник «Подземные цветы» Ольги Бешенковской (СПб.: Terra Fantastica, 1996) во многих смыслах любопытен, а порою без всяких оговорок интересен — там, где поэтессу не подводит вкус.

Но вернемся к «Альбому», редакция которого с наивозможнейшей деликатностью обходит вопросы регулярности своего журнала и сроков выхода следующего номера. Мне все-таки хотелось бы думать, что это не очередная одноразовая акция. Несмотря ни на что, я искренне желаю новому периодическому изданию выжить. Более того, от имени редакции «Речитатива» заявляю: мы готовы анонсировать следующий номер вашего «Альбома», разместить рекламу в любой другой форме, предоставить вам возможность выступить на наших страницах — разумеется, по существу и желательно без стилистических ошибок. Предлагаем безвозмездно, но не бескорыстно. Наш интерес ясен: если произойдет чудо и вопреки очевидности «Альбом» станет достойным журналом поэзии, то мы только выиграем, ибо конкуренция обогащает. Если же этого не случится, но журнал все равно будет и останется островком «социалистической» безопасности, где у всех все поровну бедненько, зато не обидно, то мы и тогда не останемся в накладе. В таком случае «Альбом» получит постоянную прописку на предполагаемых в следующих номерах нашего журнала страничках пародии и юмора.

Так или иначе, мы обязательно подружимся.



ВТОРАЯ МУЗА

Сознавая, что рубрикация в журнале поэзии необходима, но не всегда достаточна, а может быть — всегда недостаточна, мы на всякий случай намекаем: как и осетрина, поэзия бывает только первой свежести, а посему «Вторая муза» — никак не второй сорт. Мы с удовольствием представляем читателям нашего журнала писателей-фантастов Михаила Успенского и Евгения Лукина, успешная деятельность каждого из которых на поприще прозы уверенно рифмуется и с поэтическим творчеством.

Редакция «Речитатива» благодарит Александра Етоева за помощь в организации и подготовке этой публикации.

Михаил Успенский

Михаил Успенский (р. 1950) — журналист, писатель, живет в Красноярске. Формально приписан к «цеху фантастов» — по той же самой причине, по которой к фантастам относят Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова... Главная особенность творческой манеры — пишет смешно. Следствие этого — премии: малый «Золотой Остап» (1995) — за роман «Дорогой товарищ король»; большой «Золотой Остап» (1995) — за роман «Там, где нас нет».

Стихов не творит, поэтому вниманию уважаемых читателей можем предложить только поэму.

А. Е.

ТЕНЬ ДАНТА, ИЛИ СТАНСЫ ДО УПАДУ (поэма)

... Там и пехота не пройдет,
И бронепоезд не промчится,
Суровый Дант не проползет,
Хотя, наверное, стремится.

Сродни набоковской нимфетке,
Русалка там сидит на ветке,
Как ты, да я, да мы с тобой —
Добыча ревности глухой.

Мы дики. Нет у нас законов,
Нет и валютных миллионов,
Зато писатель есть — Леонов,
А есть и космонавт — Леонов!

Зима! Крестьянин, торжествуя,
Купил японское пальто.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но не дождется ни за что.

Русалку, на ветвях сидящу,
Пиит немедля тащит в чашу
И долго думает потом,
Что делать с рыбиим хвостом.

Она как озеро лежала.
Потом, часов примерно в пять,
На панщине пшеньцю жала,
Как добродетельная мать.

Слышал я истину, бывало:
«Ученый он педант, но малый».
А ты, а ты, суровый Дант —
Ученый малый, но педант!

Почто ты, Дант, такой суровый?
Аль не по нраву лист лавровый?
Вон, погляди — в дали багровой
Наш мальчик бегае дзоровый!

Там, словно бы во время оно,
Сиречь двенадцать лет назад,
Все плещут волны Флегетона
И своды Тартара дрожат.

Там прибегают в избу дети
И Митькою зовут отца.
Там разбиваются сердца,
И Мнемозина тонет в Лете.

Там начинают года в два
И прекращают в девяносто,
Там признак творческого роста —
Когда из нас растет трава.

Там начинают жить стихом,
Поскольку стих удачно начат,
Там не зовут уже, не плачут,
И не жалеют ни о ком.

И там у Триумфальной арки
Четыре ночи напролет
Тень Данта с профилем Петрарки
Ужа и Сокола поет.

Там проживает много лет
Надежда в мрачном подземелье,
Там достают из шкафа зелье
И пьют на завтрак и в обед.

Там, там, под городом Пекином,
Где зорю бьют и бьют отбой,
Тень Данта с профилем орлиным
Идет-бредет сама собой.

Тень Данта с профилем орлиным,
Отменно длинным, длинным, длинным
Поет, поет что было сил
Как Игорь половцев побил.

Там память принца Сианука
Свежа в преданиях мордвы,
Где, может быть, родились вы,
И ваш пример — другим наука.

Там возле города Тамбова
На берегу Шампунь-реки
Тень Данта с профилем Баркова
Поет страдания Луки.

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен навсегда,
И на штыке мечты опальной
Горит Полярная звезда.

Там гор Кавказских отроги
Скрывают лишних нам людей.
Алеша помнит там дороги
Родной Смоленщины своей.

Тень Данта с профилем вороньим
О чем-то жалобно поет.
Не домового ли хоронит?
Не ведьму ль замуж выдает?

Вольтер себя там выражал
Под ревы северных Бореев.
Там даже пламенный Рылеев,
Казалось, молча обнажал.

А глупый пингвин что-то прячет...
Но вот уже в Россию скачет
Сплошной кочующий деспот —
Полужуравль или Пол Пот.

Под бабье лепетанье Парки
Везет он ценные подарки:
Почетных грамот пять мешков,
Старух зловещих, стариков...

Увы! Не грамоту, скорее,
А то он хочет нам вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Добро, насмешник толстопузый!
Ужо тебе! Выходит Петр,
Поля засеив кукурузой,
На строевой последний смотр.

Бряцал кимвал, звенела медь,
Изведал враг в тот день немало,
Что значит дядю-генерала
При штабе округа иметь!

Там поднимается заря
Над разоренным огородом,
Там королевич мимоходом
Несет заветы Октября...

Так с кем вы, мастера культуры?
Уж наступил прощанья час!
Глядит по-ленински на вас
Петрарка с профилем Лауры...

сентябрь 1990

Евгений Лукин

Евгений Лукин (р. 1950) — педагог, историк, писатель. Живет в Волгограде. Автор нескольких сборников фантастической прозы (первые книги — в соавторстве с Л. Лукиной) и лауреат нескольких фантастических («Бронзовая улитка», «Интерпресскон») и менее фантастических (малый «Золотой Остап») премий.

Кроме прозы пишет стихи, часть из них перекладывает на музыку, и получают песни. Смешные и грустные, грустные и смешные.

А. Е.

* * *

Мне снятся сны, где все — как наяву:
иду проспектом, что-то покупаю.
На кой я черт, скажите, засыпаю —
и снова, получается, живу?
Я эту явь когда-нибудь взорву,
но не за то, что тесно в ней и тошно,
и даже не за подлость, а за то, что
мне снятся сны, где все — как наяву!

БАЛЛАДА О НЕВИДИМОМ РАЙЦЕНТРЕ

Год за годом в тихом озерце,
обрамлен пейзажиком исконным,
отражался маленький райцентр
с красным флагом над райисполкомом.

Но однажды вздрогнула вода,
потемнело озеро к ненастью —
передали новость провода,
что пошла борьба с Советской властью!

Изменились жители в лице.
Был намек неверно истолкован.
Взбунтовался маленький райцентр
с красным флагом над райисполкомом.

Демократов вышвырнули прочь,
возвели в проулках баррикады,
жгли костры и факелы всю ночь,
не боясь ни Бога, ни блокады.

Отдалось в чувствительном крестце —
понял мэр, что быть ему секомым
за мятежный маленький райцентр
с красным флагом над райисполкомом.

А броня-то все еще тверда —
и в степных дымящихся просторах
потекла десантная орда
на пятнистых бронетранспортерах.

Озабочен старший офицер —
уж не заблудился ли с полком он?
— Господа! Да где же здесь райцентр
с красным флагом над райисполкомом?

Озерцо да роща, благодать,
но нигде ни домика, хоть плюньте!
И пришлось в итоге доложить
о пропавшем населенном пункте.

...Иногда лишь в тихом озерце
вопреки оптическим законам
возникает сгинувший райцентр
с красным флагом над райисполкомом.

(Эту был под тихий звон монист
в кабаке с названием «Цыганка»
рассказал мне бывший коммунист,
президент коммерческого банка.)

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Как ты там, за рубежом,
у стеклянных побережий,
где февральский ветер свежий
так и лезет на рожон?

Та ли прежняя зима
в городках, где даже тюрьмы
до того миниатюрны,
что уж лучше Колыма?

Ты в моем проходишь сне
мостовой черногранитной
за новехонькой границей
в новорожденной стране.

Взять нагрнуть невпопад
в город вычурный и тесный
под готически отвесный
прибалтийский снегопад...

Ты откинешь капюшон,
на меня с улыбкой глядя.
Растолкуй мне, Бога ради:
кто из нас за рубежом?

* * *

Изрек Христос, осмеянный жестоко,
что нет в своем отечестве пророка.
Так даже с этим на Руси не гладко:
пророки — есть. С Отечеством накладка...

ДАВНЯЯ

Что ты, княже, говорил, когда солнце меркло?
Ты сказал, что лучше смерть, нежели полон.
И стоим, окружены, у речушки мелкой,
и поганые идут с четырех сторон.

Веют стрелами ветра, жаждой рты спаяло,
тесно сдвинуты щиты, отворен колчан.
Нам отсюда не уйти, с берега Каялы, —
перерезал все пути половец Кончак.

Что ты, княже, говорил в час, когда затмение
пало на твои полки вороньим крылом?
Ты сказал, что только смерд верует в знаменья,
и еще сказал, что смерть — лучше, чем полон.

Так гори, сгорай, трава, под последней битвой!
Бей, пока в руке клинок и в очах светло!..

Вся дружина полегла возле речки быстрой,
ну а князь пошел в полон — из седла в седло.

Что ты, княже, говорил яростно и гордо?
Дескать, Дону зачерпнуть в золотой шелом...
И лежу на берегу со стрелою в горле,
потому что лучше смерть, нежели полон.

Как забыли мы одно, самое простое:
что доводишься ты, князь, сватом Кончаку!..
Не обидит свата сват и побег подстроит,
и напишет кто-нибудь «Слово о полку».

МИНОРНАЯ

Послушай, нас с тобой не пощадят,
когда начнут стрелять на площадях.
Не уцелеть нам при любом раскладе.
Дошлют патрон — и зла не ощутят.

Послушай, нам себя не убережь.
Как это будет? Вот о том и речь:
вокруг тебя прохожие залягут —
а ты не догадаешься залечь.

Минуя улиц опустевший стык,
ты будешь бормотать последний стих,
наивно веря, что отыщешь рифму —
и все грехи Господь тебе простит.

Живи как жил, как брел ты до сих пор,
ведя с собой ли, с Богом разговор,
покуда за стволом ближайшей липы
не перецелкнул новенький затвор.

* * *

Не расстраивайся, старина!
Скоро все опять поменяем.
Сгинут черные времена,
станут светлым воспоминаьем...

ДОПОТОПНО-НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ

Ах, какая неудача!
Я не знаю отчего,
но жилось совсем иначе
до рожденья моего.

Ледники вовсю катали
голубые валуны,

а по тундре топотали
волосатые слоны.

Пробирались тростниками
под покровом темноты
с неприятными клыками
здоровенные коты.

А какие были крылья
у летающих мышей!
Только морда крокодила
и ни шерсти, ни ушей.

И наверное к ненастью
громко щелкал поутру
экскаваторною пастью
трехэтажный кенгуру.

Был один у всех обычай
от громад до мелюзги:
если хрумкаешь добычей —
так не пудри ей мозги!

Даже самый головастый
и хитрющий гавиал
не цитировал Блаватской
и на Бога не кивал.

Врубишь ящик — там горилла
про духовность говорит...
Уберите это рыло!
Я хочу в палеолит!

* * *

Как вышибают клин? Путем иного клина.
А руку моют чем? Как правило, рукой.
Когда во всех полках исчезла дисциплина,
в святых церквах процвел порядок — и какой!

Вы думаете, зря вощеные полы там?
Вы думаете, зря поются тропари?..
Плох тот митрополит, что не был замполитом!
И плох тот замполит, что не митрополит!

БАЛЛАДА О БРАКОНЬЕРЕ

Строга статья закона и стара:
олень — для королевского стола.
Но вот однажды этого оленя
ударил каленая стрела.

Виновного искали до среды,
но были так запутаны следы,

что встал король и разразился речью
в защиту окружающей среды.

Сказал: «Мы забываемся порой!
Охотой занимается — король.
А если каждый подданный займется,
то нам придется завтракать корой!»

А браконьер таился в гуще трав
и думал так: «Король, конечно, прав.
Однажды со стотысячной стрелкою
уйдет олений топот из дубрав...

Но не могу, подлец, жевать мякину,
когда король смакует оленину,
когда кругом такая даль и ширь!..»
Он так решил. Я тоже так решил.

Потом прошли не годы, а века.
Где лес шумел — там плещется река.
А в целом ничего не изменилось:
стара статья закона и строга.

И браконьер пиратствует в ночи.
В него ракеты садят скурмачи.
А он, родимый, скорчась за мотором,
«казанку» молит: «Падла, проскочи!»

Строга статья закона и стара.
Ему внушает радио с утра,
что по вине таких вот браконьеров
не станет скоро в Волге осетра.

Он думает: «Конечно, это да...
Останется в реке одна вода...
И что печальней может быть на свете
решения народного суда!..

Но как смотреть на голую витрину,
когда обком смакует осетрину,
когда кругом такая даль и ширь!..»
Он так решил. Я тоже так решил.

МОНОЛОГ ПАТРИОТА

Что ты смотришь по-разному,
говоришь про топор?..
День Победы я праздновал —
занеси в протокол!

Бормотуха — извергнута.
А напротив, в кустах,
дуб стоит, как из вермахта —
весь в дубовых листьях!

А мильтоны застали на
том, что сек топором...
Так ведь я же за Сталина,
блин, как в сорок втором!

Я и за морем Лаптева
их согласен ломать!
Я ж — за Родину-мать его,
в корень с листьями мать!

Я их эники-беники
в три шестерки трэфей!..
А изъятые веники —
это как бы трофей!..

НА ДАЧАХ

Утро. За ночь став лохматее,
выхожу дышать простором.
До рассвета Волга (мать -ее!)
тарахтела рыбнадзором.

Дачи. Рощи. Степи русские.
И пустые поллитровки.
Сохнут розовые трусики
на капроновой веревке.

Дунет ветер — затрещат они.
Вот рванулись что есть силы —
и забор, вконец расшатанный,
за собою потащили.

Но прищепка жесткой чавкою
держит трусики из принципа.
Не лететь им вольной чайкою
над просторами искристыми.

Мысль: судьба у всех почетная.
Не питайте к чайкам зависти,
если призваны подчеркивать
очертанья чьей-то задницы!

МЕТЕОЛИРИКА

Когда блистательная Волга,
надменно мышцами играя,
как древнегреческий атлет,
войдет в овраги и надолго
отрежет дачу от сарая
и от калитки туалет —
то что тогда?..

ПЛОВЕЦ

Что с классиком меня роднило?
Я гимны звучные слагал
и, правя тяжкое кормило,
челна ветрило напрягал.

Но вихорь злой взревел в природе,
и мне, Господнему рабу,
ветрилой хрястнуло по морде,
потом кормилой по горбу...

ПАМЯТНИК

Exegi monumentum

Здесь памятник стоял — превыше пирамиды,
но по нему прошла народная тропа.
Из праха чуть видны чугунные ланиты,
а метрах в двадцати — чугунная стопа.

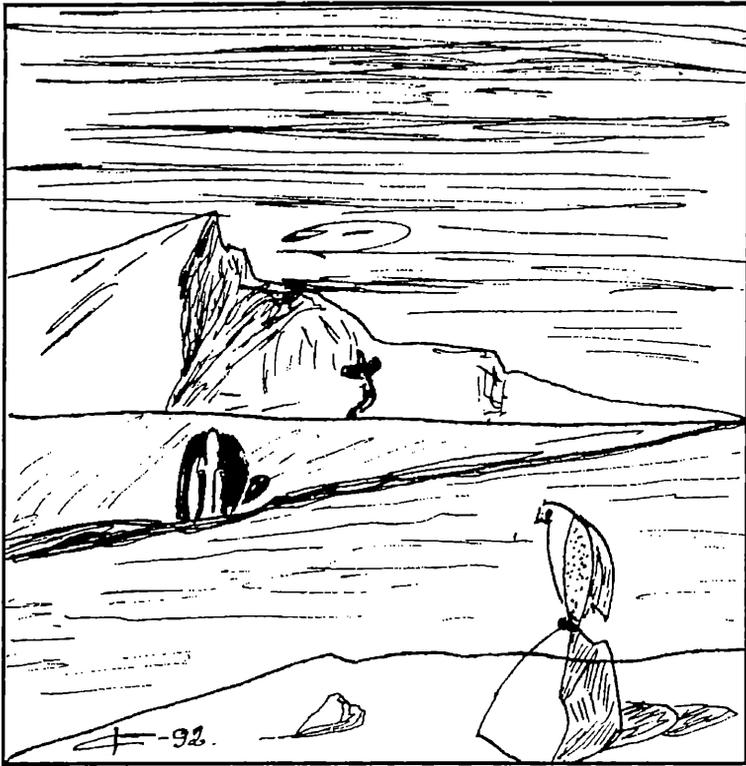
Здесь памятник стоял — куда прочнее меди,
красуясь на манер известного столпа.
Но что же от меня останется в предмете,
когда по мне пройдет народная тропа?

* * *

Посмотри: встает цунами
над скорлупками квартир.
Так, разделяваясь с нами,
красота спасает мир.

* * *

Стрелял Гаврила в Фердинанда...



Виктор Соснора

Эта поэма была опубликована в моей книге «Возвращение к морю» (Сов. писатель, 1989). Но по цензурным соображениям я вынужден был снять три главы, спутать строки еще трех глав, а также заменить многие слова и строки — созвучными.

Эта редакция (антиредакция!) поэмы возвращает все на свои места, и я считаю этот текст первой авторской публикацией.

Виктор Соснора
12.09.1996

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МОРЮ (попытка)

I

Я видел дуб у вод, под желтый лист
мне машущий, шумящий, диво-стебель,
я с чашей шел... А здесь рожают львят
из желудей, —

голы, блестят как!

Дуб рад, что дар, что множит род и дом
империи, что рдит в нем дрозд народа,
пусть молодежь, как малый дождь идет,
а возрасту уже нужна корона!

Они — идут!.. как молот вниз, как дробь
на остров, и идут, как звон за воздух,
идут у них и зубы...

Дрожь берет

от этих множеств, как пойдут зуб на зуб!

Здесь новая империя Куста

Горящего, — где дуб, явленец миру,

здесь с радостью бы родила Христа

Мария, если б здесь найти Марию.

Но не найти...

Там было три хвоста:

у ясель: вол, осел и гад, здесь — вот что!

там — тридцать три у возраста Христа, —

здесь — ужас у трех тысяч вод — вот возраст!
Вот почему, предвидя правду львят,
где чистая идет из уток туча,
я к Вам пишу за девятнадцать лет
до Третьего Тысячелетья.

II

Я к Вам пишу, по шкуре глядя год —
восьмидесятый нолик с единицей.
Мне ясла пусты: вол, осел и гад
едят девизы, а зимой едятся.
Я вырвался, как пламя-изотоп,
как знамя из земель, как стремя ветра,
как вымя, вывалился изо-рта,
бью в темя тут: «Пройдет и это время!»
Я знаю ритм у рта, и дух так млад,
грамматик у божеств, янтарный бицепс,
скажи себе, как говорит Талмуд:
«Пройдет не время — ты пройдешь, безумец!»
И жизнь пройдет, лаская жар желез,
и жест ума уймется, безымянец,
и в хоре горя, вторя, взойдет жезл:
«Не жизнь пройдет, а ты пройдешь, безумец!»
Не чту я ту гармонию магаго,
я — солнце слез, рассудок серебристый,
я жизнь зажег, как ночь коня и ног,
как соловей в соломе студенистой.
Но мне любить, но мне ль и быть, жокей,
конь без конца, без ног, кому повем тпру?
К губам губами, как к жерлу жерло
стреляют врозь, как два ствола по ветру.
Любовь — не та, не нота ностальгий,
не Логга-с-Гетта за ездой, борзую ль? —
где соловей уже не нахтигаль...
О не любовь, а ты пройдешь, безумец!

III

И я пройду, как Ирод, в закуток,
где вол с ослом... и гад, и дат девизы...
Империя Европу закует
и так: чрез двадцать лет без единицы.
Империя Европу — за кита!
Иону в круг: не римская ль уж каска?
А потому, что близится закат,
агония у рабского комизма.
Рабу без бурь нет жизни, без борьбы.
Борьба же есть война — за вес лиризма.
И, вынув зуб из-за дуры губы,
и в будни бомб бия, мы веселимся.

Я поясню:

я в бане, голопуз,
уж за полночь, а Ваня слег, как голый,
я в бане Ване поливал главу,
как бомбу!

Ваня встал, к борьбе готовый,
вот раб стоял, весь ал, жереб, козак,
Макар, телят гонявший в адрес Чермны,
где Кузькину мы им покажем казнь
у экзекуций деда Аракчея.
Ты, Ваня, цвет, тебя полью водой,
чтоб наливалось племя молодое,
вот ты один, а если вдруг войдет
Империя — о триста миллионов?
Мы — ум истерик. И не потому,
что злы, виновны, с кем-то в путь попутный...
Вот я: ребенком, вставши поутру
в пять лет игрался с пролетавшей пулей.
Я рос средь пуль, как гений-музыкант
в кружочках ног, и что ж держа на сердце? —
один расстрел, одну в законе казнь,
наркот и две клинические смерти.
В семнадцать лет, как умер ЭС-булат,
и ни Гробницы-то ему, ни Од-то,
а новый ЭН был винный и брюхат,
я знал уже, что значит дар народа.
Сей норд сержанта любит, а сей Сын,
от марьи рож рожденный с мордой медной,
взял в рот свисток, сжал, как живот, сосцы,
и о камня — как умел, младенцев
по всей Европе (азиат, звонок! —
твои товарцы шьются по ушам бы!)
Империя Европу закует.
Поможет жить ей. Помощь — без пощады.
Но о себе:

освобождая мир
от свадеб, от рождений и очами
в окружность глядя, мы идем на мы...
Юнец, в конец не отошед от шага,
тем временем я получу билет
на византизм, то есть на возмужалость...
И Муза в зоне в девятнадцать лет
меня возлюбит.

Вот моя возможность.

IV

Куда бежит оранжевый орел
по воздуху, и гонится за кем он?
Кто взял у горизонта ореол
и в воду окунул, как бы с закатом?
Зачем луна, как золото, взошла,
искусство искр у неба отнимая?

Идёт-гудёт внизу морей вода,
голубоват фарфор и у омара.
Вот лебедь — а как раб, летит, поет,
свободный свет он, краснокрыл и звонок,
у лап в клешнях и синий ал полет,
и в ветры птицеперый держит зонт он.
Вставайте, рыбы, из морей, из блюд
хрустальных, — бьют столбы луны залетной,
из морд морей тяжелый изумруд
упал, сквозной, и капает, зеленый.
Диск незакатный! Розовый! Душа
планет ничейных! — сердца смесь с луною,
из радуги, из влаги он, дрожа,
летит и льнет ко мне, как бы с любовью,
он по аллеям, как платок, летит,
он ледяной, отогнанный, животный,
как с хутора, как с хартией тех лет...
Я лист возьму: он шелковый и желтый.
Он — слог у губ, он голос, о не сглазь,
он скомкан, с кем-то, ткань он, ниоткуда...
О море, омут человеко-слез,
плывущее о двух ногах куда-то!
Краснеет от заката и светла
вода морская — как волна морская!
И грудь ее плывущая свежа,
как женская и молодая!

V

Октябрь идет на веслах, как восход,
с главой, остриженной до полукружья,
мне волосы лобзает воздух вод,
по лужам жжет и бреет рябь у пляжа.
Стою, с тою закатною звездой,
плод пламени, с гирляндой глаз под рампу,
я тоже лист, звенящий, золотой,
исписанный, как говорится, в рифму.
Имеющий стило, или стилет,
я — парус-лист, с тел ста любовниц кожа,
я — результат столетья, я — Столет,
дежурный дождь у солнца от ожога.
Что рот мой рек о Веке? Что душа
все смотрит в море, хоть вскормлен и в каске? —
ей ни греха уж нет и ни гроша,
лишь чистой чайки взлет, как в белой маске.
Жил-шел по морю чайк-реанимат,
влюбился в чайку, в пёро не от Евы,
ты мне сегодня в жены рождена
от этих двух существ — у новой Эры.
Не стройте стран! В жизнь — женщины уйдут,
останутся лишь цифры у династий.
Унижен уж, но не убит у бед,
я жду: 1, январь, чрез девятнадцать.

Вот почему пишу иглой и лгу,
шью белой нитью жизнь и вьюсь, как вирус...
А все ж отодвигается люблю
еще на девятнадцать лет, на вырост.

VI

Любить — кто, что? кого чего? кому
мне, комику, в живот всплакнуть: «О скептик!
Ты — кормчий, не попавший на корму,
а я люблю: венец, державу, скипетр».
Кому — как ню хвост взвить, а кто умыт
с утра, и в труд дурит, хотя б и сверстник,
скажи ж: «Я Кесарь», — и смешон, убит,
и не хоронят, — чуть не сумасшедший.
Гай Юлий! — автор, ввел водопровод,
имен-племен-времен-империй — туз он,
сказал ж: «Я — Кесарь!» — дров-то в рот, а вот
лежит, убит — кем чем? — трегейским трусом.
О ком о чем писать жизнелюбовь,
юрист с лысцей и козопас без рыльца?
А Цезарь — римомир, огромен, жив,
имел он щеки льва, глаза, и брился.
Он фараонов уложил в постель
папирусную — в моря дно, читатель.
Центурион, ценитель, для поэм
он нам оставил плакальщицу-чайку.
Ах, чайка с челкой в ливни, не чужда
ты морю моему!.. В дому балета
кто Клеопатру клюнет?.. Чуть вода —
ах, наводнение! Гром у нас, у Бельта!

VII

У нас, у Бельта, свой минорный клепт.
Народа нрав есть нерв от винных ягод.
Тот, Цезарь зорь с колечком клеопатр,
ходил на Бельт, ему и здесь Египет.
Но Бельту свой линолеум, свой Нил,
свой отпрыск, щеголь; щучий шут со спирта,
тот — Птолемеев (легкий!) дочь любил,
тут, трудный, хуже — с дочкой Самуила.
У рифмы римский-русский свойский смысл,
как оба сходны уж у Музы пылкой:
тот — по смерти чужих усыновил,
тут — своего на смерть убил бутылкой.
Несчастливы оба! Данники у дюн
тот — африканских, тут — балтийских эстов,
два эпика, два тигулянта дня,
отпегые у вин и эпилепсий.
Два трагика!.. Злата тому листва

из лавро-вишен, в ней светильный перл он!
А тут — с ярмом, у моря, с мордой льва,
как черный гром Европе — Петр Первый!..
Я так скажу: бегун, червонный жук
по жердочке, как рыбка с жаброй — жаден.
Есть суть природы:

Цезарь книг не жег,
он их писал. Петр — жег, женоподобен.
А потому, что ум не тот, и ус
то ль недобрит, то ль недобита утварь,
успеха нет у зависти у Муз,
тог — роль орлу, тут — голодранец с трубкой.
Не тот танцор у тел людских и толп,
тог — род в народ, всех восхишенья шепот,
тог что ни шаг — портал, триумф, оплот,
а тут — носки слезой народной штопал.
Лишь в титулах равны да по цепям
оценены, что уж не имяреки:
два первых истукана двум царям
двух первых и передовых империй.
Но тот и тут: глаз красен, как коралл,
немыслим...

Тог — не мореход, а всадник,
сжег корабли. А этот — корабел,
с конем — никак, боялся, как живых всех.
Не видя индивида, Фальконе
в медь бронз, — а ну-ка солнце ярче брысьни!
Всех Всадником пугают на Коне...
Не бойтесь, он матрос, с водобязнью.

Я о любви.

Им — петли волн лепи
и набросай на шеи в виде водных...
Лети ты, чайка, теплая, леги
из жизни в жизнь их... Дай мне ягод винных!

VIII

О факт Офелии у ив! И бью ль
в сердца стрелой, как молоточком гвоздик?
О времени, о жизни, о любви
что думал Петр, умнейший головастик?
Как с камышками, с шумом в Летний сад
въезжал с музыкой гребень петушиный?
Языки, что ж, как сабли не свистят,
о враль, о женолюб, о петербуржец?
Я истреблю не драму, а народ, —
он говорил, куя бессмертью купол.
Лег на Фонтанку, как венок на гроб
хвостливый Имп. у женских на коленях...
Кита Иона, катион ядра,

как вырез губ в заборе — бирюзовый,
я, вылупляющийся из яйца
у желудка, — во времени, безлюбый,
разбивший всю башку о шум кифар,
где ум у них, у книг, и где фонема?
А — Я... А я пишу, шипя, кошмар
окрестностей. Я эпик и фантом я.
Историк я. Швея души и тип
голубокий, — форма рифм задора.
У Третьего Тысячелетья путь,
я по нему иду и зрю здоровье.

IX

Чью жуть бы жить? Где б деготь у эгид?
Чтоб льят ловить? Рыдая, в ряд трудиться?
Прощайте, прашуры! До новых ид!
Что дуб трести, он сам трясет... трясину.
Ругаюсь зря я... скажут: демон он,
увидит кровь — и в ругань, не до нас-то!..
Но что мне делать, если день и ночь
кровь ходит —

императорских династий?

Не голубая! Той уж нет нигде,
споили всю с полынью в суп Фемиде,
не красная искринка зла в нужде,
вишневая мне кровь дана — фамилий.
Не красная со шкваркой из свиной
многомиллионных, — родину горланя,
не кровавая (шарик-ролик с ней!),
не гиблая из губ, не голубая!
Не голубая! беглая, глупа,
пугливая, с кофейной гущей льята,
не красная — гола и до пупа
гуляющая в чулках, щеголевата,
не красная! — нетрезвая рабов,
неврозная, утоп в поту, тупая,
другая моет бровь на этот раз,
с вишневой кровью —

вижу вас теперь я!

Как вы, кивая, белый свет забрав,
оставив кожу как жизнь, шагая,
как спросите: «Как жив у роз, здоров?»
Как мне живется с кожей из шагреня?
Как одному с двумя руками в жим
и чист лица овал, и шип на челке,
Двадцатый век в крови и не живал,
не числится ни по одной ночевке.
Кто он, кому я камень окаймлял
алмазами сыновними, читатель,
как я в канавы ноги окунал,
идя и дея словом человеческим.
Не найдено!

Вынашивая, сед,

вишневую, да по лугам гуляя,
живите, жители, и те же, здесь —
не красная, не голубая!
Угас у гроз вопрос за молью лет,
не вешняя! Всевышняя — у бедных!
Я к вам пишу вишневой кровью львят,
тех, топающих тут, не убиенных.
У них язык лилов, они — Слова,
я — им Отец, они — щенки, пернаты...
Кто — идущий в моря с мордасой льва?
Припомнится портрет — кто Император...

X

У моря, где еще нельзя, ни гильз,
и вниз, шая, вонзая трость, тихоня,
я с чашей шел, я нес в ней синий глаз,
я, помнится, сказал такое:
«Я образ солнечный, я диск и льдист,
иду я вдоль у вод и вдаль я шел бы,
но озарен, предвидя правду львят,
свой гордости венец я снял, как шляпу.
Ты — дуб! ты — друг! ты — будущий! ты — Бельт!
У моря в раме, с временем по шкуре!
имеешь щеки льва, язык, ты — брит!» —
так я сказал тогда,
теперь пишу я.

XI

Кто Вы?.. Но с головой Земли дебил
на спицах ног несется по орбите
в иную жизнь, где мир иных обид
сулит иную публику амбиций.
В петлях у волн теплынь-то тел с вина,
ныряют в воду, в ад любви осенней,
если б сойти до сумерек с ума,
в диагност-день — кто ж солнца вход оценит?
А солнце в день войдет, как обормот,
о ген-сократовец, злой из-под лезвий, —
напустит дождь на бровь и обойдет,
как в кепочке, с улыбочкой, подлейшей.
Уйдет оно!
И день уж гол, и льгот
не жди, и дружб, и есть одна надежда:
есть в море остров имени Тех Львят,
влезть в воду, всплыть, залезть на дуб надежно,
сидеть да сеть трясти, чтоб не соврать,
даренья рыб, их жир у рож злаченный,
взять в воздухе — изжарить и сожрать
за облаком хозяев душ заочных.

Я хор продрог, но тонок интеллект,
пою, пишу в папир на дубе том я.
Ночь надо мной, а подо мной тьяк львят
до Третьего Тысячелетья.

XII

За тучей туча, замутит метель
листвы, любви — и в ночь ты нов, и ясно,
возьмешь тех львят, им дашь цветов: миндаль,
сидят в руках, им солнечно и ярко.
Им дашь молочный литр, и льнут, как с пят —
он вставшие, шелк вьет на шее кудри,
поставишь на валун, стоят и спят,
и карий глаз у них святой и круглый!
Весна идет, а весла воду льют,
а ветреница-мельница теченья
Времен

 стоит на острове Тех Львят
до Третьего Тысячелетья.
Их узрит ураган — уйдет, к ним в гром
орел бежит оранжевый по дубу...
Вот вырастут же в море голубом
и вплавь сойдут...

 на сушу иль на душу?
Что думается, чудо-человек,
мятежник, муж и дух, соавтор с демою?
Откроют глаз они — закроют Век
Двадцатый, —

 между тем, как
 между делом...

XIII

Но ад, он одарен альковным днем,
когда с плечом блестящим и нагая
восход-заря взойдет над нашим дном,
как рыба, мордой ввысь, как наугад я.
О рыба розовая, лом-налим
осенний!..

 Рокот, мол, ночное море...
Уж месяц-мироносец мне не мил!
Не любо небо родины в миноре!
Я дом отдам!.. (чуть вечный, ледовит
дом человеческий!), выжму пот железный...
Уж осенью, а гуси не летят,
Ты, Господи, гусей тех, пожалей их.
Идет народ на Норд, гоним и наг,
а эти льнут и любят клен и ильмень,
им, гусям уж не улететь на Юг,
им к заморозкам зиму не осилить.

Их держит дружбы поздняя печаль
речушек в роще и рыбешек в гнездах,
их крик с моим — как рук удары вдаль,
что ж днем с огнем Ты нам не отзовешься?
От слез — отрежу дуб и скот спалю,
а дев спущу с цепи рукой ежовой,
и дом, и дуб, и дев я не — люблю
страну,

где эти гуси гибнут, Боже.

Что ж делать — ладить с памятью тех лет,
как плыть в полет, кто ж смотрит за устами?
У тел до смерти — свойство улететь,
не отпустили их... и запоздали.
В моем пруду в партере вод — нет мест,
над пищей — шип, у хлопот — голос долог,
по лет числу моих — их сорок семь,
но тысяч!..

Замерзают гуси, голод.

Не дрессируют сердце, и грозней
года у дуг у бубенца отчизны,
Ты полюби их, Господи, гусей,
их холодны уста, и отпусти их.
Вот выйдут в зори, — зов их узких уст,
круглы у жал!..

А здесь за щит затишья
подует в пруд, увидят и убьют,
себя не смог, какой я им защитник.
Не плачь, мое чело, посеем дробь,
пожмется бурь шар голубой отказа.
Как дура битая, Земля, как дуб
стоит,

безжалостна и одноглаза.

XIV

Кто тонет, тот не так уж говорлив,
ну, две-три фразы, ритор, ну и... глубже...
Ах, море, море, омут голубой,
плывущее!

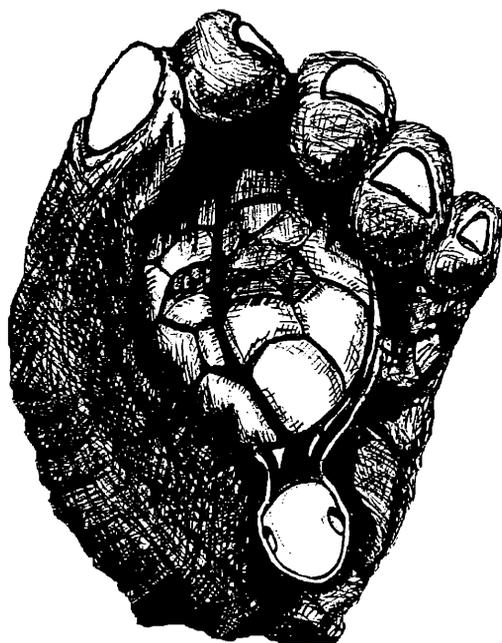
А я — идущий, глядя:
из вод изваянные, как в окне,
на дне у моря фараоны спят, а
на них валун лежит, на валуне
стоит по чайке, их двунога стойка.
И био-чайка Бельта ест и ест,
и с клювом рыбку рубит, как с кинжалом,
и если это души тех, Египт, —
«Прожорливые, — люди, — души», — скажут.
Отвечу: саркофаг на дне найди
и ляг в него, взгрустнется вдруг — «еду б мне!» —
не ешь, иди шаг в шаг и в две ноги,
как пес у стоп — лежи, не лги и думай.
Будь фараоном, я бы тут же лёг,

чтоб надо мною ножки-двойни...

Уж в глаз

бьют голубую чайку в лоб и в лёт
два ворона, тяжелые, как ужас.
Убили и упала, как в вине
лежит в волне и смеркнул синий уж глаз...
И вот идут, как нотные, ко мне
два ворона, тяжелые, как ужас.
Они идут по берегу волны,
как с копьями, как пьяные, как в шрамах,
как орды, воды пьющие волны,
как воров книг издания Рима — в шлемах.
Они идут в виду, как бы века
со временем, со жизнью, со любовью...
Два ворона летят, как два венка,
железные, терновые — на лоб мне!
Кто в свод свистит у солнца на краю?
Прочь розу! — ты, пузырь у зорь нездешних!..
Где ярость я, юродствуя, кую, —
идут и тут, два с дулами, неспешных.
Два ворона, как ветры вьют круги
над взморьем,
и так смотрят с моря уж в глаз,
что хочется взять выстрел за курки
и не стрелять, чтобы не смыть с них ужас.
Два ворона в дороге, как ружья
от горя отголосок, как два брата...
Они уйдут, как рыбы, вдаль, кружа,
тревожные...

А мне уж нет возврата.



ПЕРЕВОДЫ

Луис Альберто де Куэнка

Луис Альберто де Куэнка родился в Мадриде 29 декабря 1950 года. Получил филологическое образование в Мадридском Автономном университете. Один из самых авторитетных филологов-классиков Испании, научный сотрудник Института Филологии Высшего Совета Научных Исследований Испании. Ныне Директор Национальной Библиотеки Испании. Первый поэтический сборник Л. А. де Куэнки был опубликован в 1971 году. С тех пор вышло шестнадцать поэтических книг. Автор многочисленных переводов с дрезнегреческого, латыни, старофранцузского и провансальского языков. Его стихи выходили в переводах на итальянский, французский, английский, немецкий, греческий и чешский языки.

АГАГ АМАЛИКИТСКИЙ

Агаг, властелин Амалика,
воитель, сломленный и прощенный,
сказал себе, смиряя слова
и благоговей перед крахом:
«Конечно, горечь смерти миновалась».
Спустя мгновение кривая сабля
Самуила рассечет его тело
в ознаменование божьего гнева,
оросив землю благородной кровью.
От лучезарного бессмертия этой фразы,
погребальной торжественности надежды
и веры не останется ни следа
в антологиях. Все тлен.

(Scholia, 1978)

КРЕСТЬЯНИН И ПРИНЦЕССА

Дьяволицин сад.
Я умыкаю тебя,
нагую,
найдя дремавшей у пруда.

В моих руках
благоухает и колеблется
твой сад.

(Scholia, 1978)

AMOUR FOU

Властители влюбляются в своих дочерей-отроковиц.
Страсть овладевает ими негаданно,
в то время, как придворные оживленно обсуждают
незаслуженно забытую старинную церемонию.
Властители влюбляются в своих дочерей,
трепещущие, распутные и безумные, они их любят
одержимо, неистово, отчаянно и беспощадно.
Противясь их замужеству, они изощряются
в придумывании неразрешимых загадок
для претендентов на их руку. Никогда еще
стольких принцев не обезглавливали понапрасну.

Властители губят себя с дочерьями-отроковицами,
по ночам изнашиваются и растрачиваются в постели.
Но проглянет день, и, укачиваемые сном, дочери уплывают,
а они, торжественные и понурые, оглашают законы.

(Серебряная шкатулка, 1985)

ЭТОТ ЗАПАХ — НЕ ТВОЙ

Этот запах — не твой.
Твои руки благоухают иначе,
и иной аромат предвещает твое появление.
Да и детство иначе пахнет,
и сады, преследующие нас во сне.
Этот запах — запекшейся крови,
которой пропитана книга о войнах Средних веков.
И сам я сегодня напоен этим запахом
ярости и ликования.

(Иные сны, 1987)

ЗОМБИ НА УЛИЦЕ

Куда-то запропастился последний экземпляр «Илиады».
Комната наполняется землеройками.
Я подхожу к окну и гляжу на небо,
Мало-помалу наливающееся кровью.

А значит, они уже здесь. Не прожужжит
и муха, как они просочатся в спящий город.
А значит, они не только порождения
нашего страха, не только сказка для простаков.

Жаль, что нет у меня слонов, а мать
уехала отдыхать, может, и навсегда.
Как Гильгамеш поступил бы, будь он на моем месте?
Выхожу. В любом случае с этим надо кончать.

(Факел и роза, 1993)

МЫ ВНОВЬ УВИДИМСЯ

Мы вновь увидимся с тобой в краю,
где нет ночей, и где сияют красотой
уродцы, где сильный слабого
не обижает, а ублажить готов.

В краю, где солнце не печет, мы снова
друг другу будем глупости пороть,
и, взявшись за руки, следить глазами
как безмятежно опадают волны.

Прильнув к твоим губам, ту самую любовь
найду, какую юная Земля питала к Небу,
и бормотать напев прощальный время
прекратит, пока стоим, обнявшись.

(Факел и роза, 1993)

Перевод Всеволода Багно

От редакции

Всеволод Багно (р. 1951) — доктор филологических наук, заведующий Отделом взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, президент гуманитарного фонда «Сервантес» — уже выступал на страницах нашего журнала в качестве переводчика и литературоведа. Теперь мы хотим предложить читателям и несколько его собственных стихотворений, написанных в семидесятые годы.

Всеволод Багно

Как может профиль быть лицом,
Как может заменить висок
Мой лоб,
Мой рот,
Мой глаз...

Мой лоб полон забот,
Мой глаз полон надежд,
Слов полон мой рот,
А не просто — к желудку брешь.

И даже если отвис
Мой подбородок вниз,
И если мой нос распух,

А без ушей я глух,
И пусть я нечеток в фас,
А в профиль кажусь я греком,
Я лучше прослыву калекой,
Чем хоть на время уху уступлю
Мой лоб,
Мой рот,
Мой глаз.

* * *

Миром правит непогода.
Замыкаю круг знакомств
На себе. Моя порода
Только зло творит в другом.
Закружу себя волчком,
Пальцы пролистну украдкой —
Вдруг откроется закон:
Почему мои догадки
Обернулись снова злом,
Злом, несчастьем, непогодой,
Подтасовкой перемен.
Снова вышел в чувствах крен
К небывалому, чужому...
И не молнии, так грому
Просто сбить меня с пути.
Прекрати.

Миром правит непогода.
Горло разболелось. Сода
К полосканию зовет.
И будильник полночь бьет.

Изолгавшись на корню,
Никого я не виню.

ПОЭТУ

Тяжелую лиру удержит рука —
Не бог весть какая ноша.
Он голубя спрятал в рукав,
А вытащил кухонный ножик.

Из домика счастья в нерусскую ночь
Путь трудный и длинный, путь зерен.
И мыши скребутся, готовы помочь
Их другу-поэту, он болен.

И лишнего нет у него башмака,
И падать в себя неудобно.
Тяжелую лиру положит пока
На перекрестке потомок.



ВТОРАЯ МУЗА

В первом случае поводом для объединения двух различных авторов — Михаила Успенского и Евгения Лукина — под «шапкой» одного раздела стал факт их формальной принадлежности к цеху писателей-фантастов. Здесь, во втором случае, таким условным объединяющим основанием стало отношение авторов к изобразительному ряду. На наших страницах — стихотворения петербургского художника Владимира Евсевьева и фотографа Александра Филиппова.

Владимир Евсевьев

Владимир Евсевьев громко заявил о себе в 50-е годы, время активного формирования целой плеяды крупных художников (в широком значении слова). Собственно, поэзия — первая, изначальная муза В. Евсевьева, именно с нее он начал свой творческий путь. Потом была художественная проза, эссеистика; особое место в его жизни заняла живопись. Во второй половине семидесятых годов сложился творческий и жизненный союз Владимира Евсевьева и Натальи Евсевьевой-Громовой — ВИН.

Что представляют собой стихотворения В. Евсевьева в контексте сегодняшнего дня — факт личной истории художника или же явление живого литературного процесса — читатель может судить по изданным сборникам («Спутники ночей», «Читателя поставит на барьер» и др.) и отчасти по нашей публикации.

Редакция

* * *

В печальных елях столько горя,
стоят устало, плечи опустив,
лишь ветряки на косогорах
мотают гневно
кулаки.
Мы наше детство помним на вокзалах,
и до сих пор тревожат нас гудки.
Большое солнце смотрит оком алым
на поезда, на шпалы,

на пути.
И неба скособоченная крыша,
как чугунок, от копоти черна.
Здесь поезда, как судьбы, дышат.
Здесь, как вокзал,
шумит страна.

1948, Москва

* * *

Низколобые, узкоплечие,
плоскостопые, как война.
Поросли клочковатой плесенью
полутрупные, полупризрачные
дома.
Рассудительность мусорных ящиков,
одинокество пожилых дворов.
Не дома, а пещерные ящеры —
обиталища праведных снов.
В домостроевских коридорах
злая плесень всегда права.
Здесь невольно придумаешь порох,
чтобы стены эти
взорвать.

1956

* * *

Здесь горло рвут.
Здесь слезы льют:
затем, что Бог
не дал клыка.
Здесь, как петля,
беспомощна рука,
пока не обовьет
за шею.
Пока...

* * *

«Кто сказал, что осень — оборона?»

Бесконечна осень. Беспредельна.
Осень. Осень — Хриплые Часы.
Я пришел, оставил дождь в передней —
там, где сохнут хмурые зонты.
Ночь надела стиранный передник,
налила в тарелки щей.
Хмурый дождь деревьям шепчет,
небольшим еще деревьям:

«Дважды два — не шесть,
а семь».
Мы все подняли лапки зонтиков,
мы все надели плащ-палатки.
Бюро Погоды урезонирует:
«Осадки. Граждане — Осадки!»

1956

* * *

Не говори мне слов.
Мне слов ночных не надо.
Мне хочется
прохладных, детских снов,
прозрачных,
словно кисти винограда.

1957

Александр Филиппов

Петербуржец Александр Филиппов (р. 1960) — профессиональный фотограф. Активно выставляется со второй половины восьмидесятых годов. В какой-то мере символично, что его первая персональная выставка состоялась в Доме-музее Пушкина на Мойке.

Фотографии А. Филиппова много раз появлялись на страницах петербургских газет, на обложке и страницах нашего журнала. Он принял участие в художественном оформлении нескольких книг, в том числе «Малого апокрифа» А. Столярова и сборника стихотворений Д. Вежиной «Время жить»; его фотографиями иллюстрированы книги стихов М. Дайнеки «Инструмент», О. Бешенковской «Подземные цветы».

Сам пишет неровно и неожиданно, будто случайно, оттого — вдвойне любопытно. Большая часть стихотворений, составивших подборку, создана в 1996 году.

М. Д.

* * *

Каждому времени — свой циферблат:
Солнечному —
красивые камушки,
Электрическому —
светящиеся мушки,
Песочному —
стеклянные колбы.
А где-то палят
из пушки
в полдень.

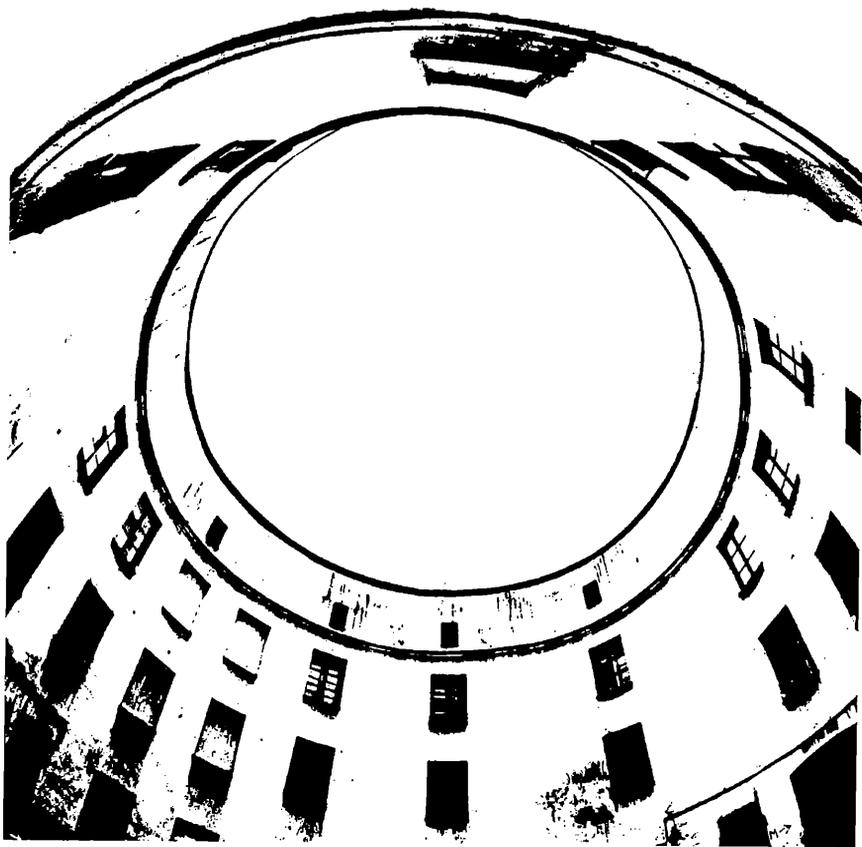




За окнами река
Опять стремится за границу
Гранита и литого чугуна.
Скучают в ожидании вина
Прозрачно-призрачные лица.
Пространство замкнуто.
И ни к кому,
Как эхо, взгляд не обращен,
А лишь скользит по потолку и стенам,
И тема
Для раздумий — счет.

* * *

Азарт гадальных карт.
Старт-финиш,
Финифть
мокрых стен,
чей плен дороже
деревьев естества,
листва которых —
порох,
сгорающий дотла за лето.
Это
признание в любви
к тому, что постоянно.
То есть точка —
не явный,
но источник бытия.



Алексей Крайковский

Родился в 1972 г. в Ленинграде, здесь же закончил Университет и получил специальность историка. Занимаясь, как и положено аспиранту, сухой наукой, он не оставляет поэзию, оправдываясь перед научным руководителем, что еще Карамзин был не чужд обеих муз.

* * *

Я в гости собираюсь, словно в бой.
Пятнадцать лет вся жизнь моя — подмости.
Мои слова и жесты точны, броски.
Но как мне тяжело не быть собой!

Я так привык любить без суеты,
Что не ищу и проблеска надежды.
На мне чужие маска и одежды.
И я — не я. Зато мой зритель — ты.

Песка безостановочного бег
Последний акт бездумно отмеряет.
Я жизнь свою в спектакль превращаю.
Но каждое в нем слово — о тебе.

Я вжился в роль — и я умру всерьез.
Как умер тот, кого я здесь играю.
Как знать, быть может, сцену покидая,
Я заслужу хоть каплю ваших слез.

По мне аплодисменты отзвучат,
Как реквием, недолгий и прекрасный.
Я вновь на сцене. Роль моя опасна.
Но зритель — ты. И нет пути назад.

Люби меня. Под маскою, без слов,
Измазанного кровью, словно гримом.
Я стану всем, чтоб быть твоим любимым.
Давайте занавес! Мой выход! Я готов...

* * *

Я усталый король без трона —
Сам себе озлобленный шут.
Был я венчан венчальным звоном,
Был в него одет и обут.
Я не слушал чужих советов,
Верил в Бога, когда хотел.
Упустил золотое лето
Из дырявых своих сетей.
Я слоняюсь по гулким залам —
Разошлись и друзья, и двор,
Прихватив кому что попало:
Дворня — трон, а палач — топор.
За спиной смеются портреты
Тех, кто прожил мудрей, чем я.
Короли — совсем как поэты,
Если их бросают друзья.
За стеной кто-то бал играет,
Тесен наш коммунальный свет.
В час, когда король умирает,
Говорят, родится поэт.
Туз — направо, дама — налево.
Кто тут ставил на короля?
От кого твой сын, королева?
Что он пишет куском угля?

* * *

Последний снег — надежда и прощанье.
Как будто кто-то машет из окна.
И три коня, заложенные в сани
Пошли, пошли — и спрятались в тумане.
И тает след. И поступь не слышна.

Мы так привыкли провожать до двери,
С улыбкой оставляя на потом
Свою любовь и молодость — все то,
Чему ни ты, ни я уже не верим.

Когда-нибудь и мы заточим перья,
Закончив книгу точкой с запятой.
И в ней все будет, может быть, иначе.
Но эта сказка будет не о нас...
Последний снег. Прощание без плача —
Как будто кто-то машет из окна.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Редакция «Речитатива» еще раз благодарит всех, кто помогал и помогает независимому санкт-петербургскому журналу поэзии на его тернистом пути. Спасибо Финансовой Группе Росско и издательству «Terra Fantastica» Издательского дома «Corvus», поддерживавшим журнал в период его становления. Спасибо Михаилу Бениаминовичу Казакову, Генеральному директору АОЗТ «РЕДЭС ЛТД», финансировавшему предыдущий номер журнала. Большое спасибо отделу поэзии Дома Книги, лично Людмиле Леонидовне Левиной за доброжелательное отношение к «Речитативу».

Мы от души благодарим авторов нашего безгонорарного издания за предоставленные материалы. И конечно же, спасибо всем читателям «Речитатива» за внимание к старейшему в Санкт-Петербурге и в России, но все еще очень молодому журналу поэзии.

В предыдущих номерах «Речитатива»
были опубликованы произведения следующих авторов.

Абельская Н.	№ 1-2'96: 3. № 3'96: 6.
Аверин Б.	№ 1-2'96: 101.
Багно Вс.	№ 2-3'95: 56.
Беклов А.	№ 2-3'95: 23.
Билинкис Я.	№ 1-2'96: 44.
Богданов А.	№ 1-2'96: 108.
Болехан В.	№ 1-2'96: 85.
Борисова М.	№ 3'96: 6.
Бураков И.	№ 1-2'96: 40.
Вежина Д.	№ 1'95: 46. № 3'96: 55.
Волошенюк Д.	№ 3'96: 84.
Галкина Н.	№ 1'92: 12.
Гампер Г.	№ 1'92: 41, 54.
Гейн А.	№ 1'92: 62.
Гейн М.	№ 1'92: 48.
Герман М.	№ 2-3'95: 33.
Городицкий А.	№ 2-3'95: 45.
Дайнека М.	№ 1'95: 40. № 1-2'96: 106. № 3'96: 4.
Елагина Е.	№ 1'92: 25. № 1'95: 49. № 2-3'95: 76.
Ераньков В.	№ 1-2'96: 84.
Етоев А.	№ 3'96: 81.
Каллистова Е.	№ 1-2'96: 102.
Калмановский Е.	№ 1'92: 34.
Капустина В.	№ 1'95: 25.

Карпаухова Г.	№ 1-2'96: 90.
Киреенко О.	№ 1'95: 69.
Колкер Ю.	№ 2-3'95: 4, 80.
Кривулин В.	№ 3'96: 27.
Крыжановский А.	№ 1'92: 9, 15. № 2-3'95: 15. Памяти Андрея Крыжановского, его жизни и творчеству посвящен «Речитатив» № 1-2'96, подготовленный Наталией Крыжановской.
Кудимова М.	№ 2-3'95: 6.
Левин Ю.	№ 1'95: 61.
Левитан О.	№ 1'92: 5.
Лежеш Б.	№ 3'96: 77.
Машевский А.	№ 1'95: 13.
Мочалов Л.	№ 1'95: 33.
Олейников А.	№ 3'96: 36.
Перевезенцева Н.	№ 1'92: 51, 60.
Пруссакова И.	№ 1'95: 63.
Равинский Д.	№ 1-2'96: 71.
Семенов В.	№ 1-2'96: 105. № 3'96: 25.
Семенов Г.	№ 1'92: 1.
Слепакова Н.	№ 1'92: 58.
Скаковский И.	№ 1-2'96: 43.
Танков А.	№ 2-3'95: 63.
Темкина М.	№ 3'96: 68.
Халупович В.	№ 1'92: 56.
Чернов А.	№ 2-3'95: 74.
Эрастов Е.	№ 3'96: 31.
Яснов М.	№ 1'95: 53. № 3'96: 77.

Переводы:

Шарль Бодлер	№ 1'95: 57 (перевод и публикация Е. Баевской).
Тимофей Милетский	№ 2-3'95: 65 (перевод и предисловие Е. Лукина (СПб)).
Октавио Пас	№ 1'92: 44 (пер. Ф. Борисова, В. Андреева, Н. Галкиной; публикация В. Резник). № 3'96: 62 (перевод Вс. Багно).

А также в № 3'96 публикация М. Яснова «Трое из...»: Тристан Корбьер, Поль Верлен, Жюль Лафорг, Густав Кап, Стефан Малларме в переводах М. Яснова, Е. Баевской, В. Парнаха.

Изобразительный материал:

№ 1'92	Дзювинар Бекаряп.
№ 1'95	М. Дайпека, Д. Вежина, А. Филиппов.
№ 2-3'95	Рафаэль Мангутов.
№ 1-2'96	Мария Крыжановская.
№ 3'96	М. Дайпека, Д. Вежина, А. Филиппов; Егор Федюкин; Андрей Пчелин.

Всем спасибо — и до новых встреч.